



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(Горбачев-Фонд)

**Мифы о советской эпохе
рождаются сегодня: к итогам дискуссии
о 90-летию Октябрьской революции**

**Демократическое движение
и интеллигенция
в современной России**

ГОРБАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

МОСКВА 2008

Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд)

учрежден в декабре 1991 года

Президент Фонда — Михаил Сергеевич Горбачев,

Вице-президент — Ирина Михайловна Горбачева-Вирганская

Горбачев-Фонд — международная неправительственная, неприбыльная организация. В его деятельности на добровольных началах могут принимать участие юридические лица и граждане любых государств. Горбачев-Фонд постоянно сотрудничает с ведущими университетами, фондами, международными организациями, государственными структурами и неправительственными объединениями в разных странах мира.

Горбачев-Фонд — один из первых независимых «мозговых центров» в современной России. Он проводит исследования социальных, экономических и политических проблем, актуальных для нынешнего этапа российской и мировой истории. Фонд стремится содействовать утверждению демократических ценностей, нравственных, гуманистических начал в жизни общества.

Исследовательская работа Фонда с начала его существования велась по ряду направлений:

- глобальные проблемы,
- экономическое развитие и социальные проблемы в России и мире,
- европейский процесс,
- история Перестройки в СССР и новейшая история России

Постоянно действующие проекты Фонда:

- «Горбачевские чтения»,
- Круглый стол «Экспертиза»,
- «Клуб Раисы Максимовны»

Общий девиз работы Фонда — «К новой цивилизации»

сайт Горбачев-Фонда www.gorby.ru

**Международный фонд социально-экономических
и политологических исследований (Горбачев-Фонд)**

ГОРБАЧЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

**Мифы о советской эпохе рождаются
сегодня: к итогам дискуссии о
90-летию Октябрьской революции**

**Демократическое движение и
интеллигенция в современной России**

Москва 2008

УДК 94(47+57)

Г 67

Горбачевские чтения. Вып. 6.: Мифы о советской эпохе распространяются сегодня: к итогам дискуссии о 90-летию Октябрьской революции. Демократическое движение и интеллигенция в современной России. / Междунар. фонд соц.-экон. и политол. исслед. (Горбачев-Фонд). — М.: Горбачев-Фонд, 2008. — С. 182.

*Под редакцией О.М. Здравомысловой
Компьютерный набор: И.Г. Вагина, О.Е. Котова*

ISBN 978-5-86493-143-1

© Горбачев-Фонд, 2008

© Оформление Матушкина И.И., 2008

Сдано в набор 19.11.2008. Подписано к печати 03.11.2008.

Формат 60х90/16. Объем 11.5 п.л. Тираж 700 экз.

Международный фонд социально-экономических
и политологических исследований (Горбачев-Фонд)

Отпечатано в ООО «Связь-Принт»

От редактора

В шестом выпуске «Горбачевских чтений» опубликованы материалы конференции, приуроченной к 90-летию Октябрьской революции, и круглого стола, темой которого были состояние демократического движения в современной России, роль интеллигенции в процессах социальных изменений.

Октябрьская революция, определившая в XX веке историю России и оказавшая фундаментальное влияние на весь мир, вызывает острые разногласия среди ученых и «раскалывает» общественное мнение. Дискуссии, прошедшие в год 90летия Октября (2007 г.), выявили это в полной мере. Миф о Великой Октябрьской Социалистической Революции, созданный за годы Советской власти, был подвергнут резкой критике в конце 80-х годов. В 90-е делались поспешные попытки создать другие мифы — как «ностальгические», так и «развенчивающие». Благодаря этому пространство свободного научного исследования, поиска фактов и их анализа сокращалось под давлением политической и рыночной конъюнктуры — это, прежде всего, сказалось на преподавании курса отечественной истории школьникам и студентам. Последствия невежества по отношению к собственной истории могут быть катастрофическими для российского общества. В наше время Октябрьская революция становится «разменной монетой» в политических играх для определения союзников или противников той или иной партии и идеологии. Обсуждение этих проблем, опубликованное в первой части сборника, обнажило нерв современного дискурса об Октябрьской революции: она должна быть не демаркационной линией идеологической ангажированности, а предметом глубокого исследования и вехой в исторической памяти каждого гражданина.

Во второй части «Горбачевских чтений» представлены доклады политологов А.В.Рябова и Э.А. Паина и материалы их обсуждения. В центре докладов, последующих выступлений были вопросы, которые активно обсуждаются в российском и международном сообществе исследователей и экспертов, порождая разнообразные, зачастую взаимоисключающие суждения и оценки. Речь идет о степени готовности России к демократическим изменениям, об упущенных и вновь возникающих возможностях, альтернативах, о современной роли интеллигенции и перспективах демократизации.

Содержание

Мифы о советской эпохе распространяются сегодня: к итогам дискуссии о 90-летию Октябрьской революции

Возможен ли консенсус в оценке историками Октябрьской революции?	
<i>В.Т. Логинов</i>	6
Мы все еще живем внутри мифа об Октябрьской революции	
<i>А.П. Ненароков</i>	12
Революция, определившая XX век	
<i>В.Д. Соловей</i>	18
Урок Октября – опасность гражданской войны в среде демократии	
<i>А.В. Шубин</i>	21
Октябрьская революция в современной перспективе	
<i>В.М. Межуев</i>	25
О современной мифологии Октябрьской революции и советской истории	
<i>Б.Ф. Славин</i>	30
Октябрьская революция и миф об «идентичности социализма и фашизма»	
<i>А.А. Галкин</i>	41
Была ли Октябрьская революция социалистической?	
<i>М.И. Воейков</i>	43
Демократической альтернативы большевизму не существовало	
<i>П.П. Марченя</i>	52
Проблема в том, чтобы отказаться от устаревших стереотипов	
<i>И.И. Долуцкий</i>	54
История начинается с деконструкции исторической мифологии	
<i>В.П. Булдаков</i>	61
«Октябрь» в контексте консервативной революции в Германии	
<i>И.А. Женин</i>	66
Октябрьская революция и исторический путь России в XX веке	
<i>В.Л. Шейнис</i>	73

Октябрьская революция и западный мир	
<i>А.Б. Вебер</i>	82
Условности, порождаемые системными революциями, формируют исторические руслу	
<i>А.С. Черняев</i>	91
Социологический комментарий: поляризация общественного мнения об Октябрьской революции возникла на рубеже 80-х и 90-х годов XX века	
<i>И.В. Задорин</i>	93
Демократическое движение и интеллигенция в современной России	
Доклады	
Демократическое движение в современной России: истоки, состояние, причины	
<i>А.Б. Рябов</i>	103
Российская интеллигенция перед вызовами времени. Времена перемен и время застоя	
<i>Э.А. Паин</i>	130
Обсуждение докладов	
<i>М. Ю. Урнов</i>	142
<i>Н.Б. Иванова</i>	144
<i>Д.Е. Фурман</i>	146
<i>Б.И. Макаренко</i>	149
<i>В.Б. Кувалдин</i>	151
<i>И.И. Курилла</i>	155
<i>Л.М. Дробижева</i>	159
<i>В.М. Межуев</i>	161
<i>А.Ю. Даниэль</i>	166
<i>М.П. Белоусова</i>	169
<i>М.Ю. Виноградов</i>	172
<i>А.В. Федоров</i>	175
<i>В.Д. Соловей</i>	178
Заключительные замечания	
<i>А.В. Рябов</i>	180
<i>Э.А. Паин</i>	181

МИФЫ О СОВЕТСКОЙ ЭПОХЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ СЕГОДНЯ: К ИТОГАМ ДИСКУССИИ О 90-ЛЕТИИ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Возможен ли консенсус в оценке историками Октябрьской революции?

В. Т. Логинов,
д.и.н., Горбачев-Фонд

Так случилось, что я участвовал в нескольких конференциях и «круглых столах», посвященных 90-летию Русской революции. И в этой связи мне хотелось бы поделиться некоторыми наблюдениями.

Первое из них состоит, видимо, в том, что замысел «кремлевских мечтателей» — превратить эту дату в «*День умолчания*» — не удался. Вероятно, предполагалось, что по случаю нового праздника — *4 ноября* — весь народ в этот день сольется в демонстрации своего единения с властью. А *7 ноября* мы будем отмечать, согласно церковному календарю, день ангела Анастасия, Маркиана и преподобной Матрены.

Но ничего из этой затеи не вышло. Не будем говорить об уличных демонстрациях или митингах — это другая стезя. Но научные конференции прошли не только в Москве, Петербурге, других университетских центрах, но и за рубежом — в Германии, Китае и т.д.

Второе наблюдение заключается в том, что именно эта историческая дата показала, что пути науки и так называемой «исторической публицистики» разошлись бесповоротно. И сегодня телевидение, радио, пресса функционируют на своем собственном поле, совершенно независимо от того, что происходит в сфере науки.

За последние годы вышло много серьезных работ. Это, прежде всего, обширное издание по истории российских политических партий, удостоенное Государственной премии. Опубликована блистательная книга Геннадия Леонидовича Соболева «Тайна немецкого золота», интересная работа Василия Юрьевича Галина «Запретная политэкономия. Революция по-русски», книги Георгия Львовича Никанорова, Александра Сергеевича Сенина. Этот список можно продолжить.

Но о каком соревновании и свободном обмене идей можно говорить, если мракобесие, которое изливается с телеэкрана, идет на миллионы зрителей, а тираж указанных книг исчисляется сотнями экземпляров. Это, если хотите, и есть современный способ ведения идеологической борьбы.

Тираж известных опусов академика Фоменко о «новой хронологии» перевалил за два миллиона, а сборники «Анти-Фоменко» выпускались тиражом в 300–500 экземпляров. Печально знаменитый «Ледокол» Суворова-Резуна так же превысил два миллиона, а книги Габриэля Городецкого «Миф Ледокола», и Льва Александровича Безыменского «Сталин и Гитлер накануне схватки» печатались лишь в сотнях экземпляров. Можно утверждать, что «историческая публицистика» занимает сегодня доминирующее место в формировании массового исторического сознания.

В каком направлении оно формируется? Это можно было видеть в многократно повторяемых фильмах о Парвусе, где зрителю вбивают в голову мысль, что революцию устроил немецкий шпион Ленин. Или в фильме о Троцком, где доказывается, что революция — это работа «американского шпиона» Троцкого и прочих «жидо-масонов». Апофеозом «жанра» стал фильм «Штурм Зимнего», из которого зритель впервые узнал, что Октябрьскую революцию успешно провел небольшой отряд немецкого спецназа по плану, разработанному германским Генштабом.

Порядочным людям становится просто стыдно. Старый немецкий профессор Стефан Дернберг написал в письме профессору А.А. Галкину: «Скажу откровенно: нынешняя историческая наука в Германии, как и в других странах, растеряла часть объективности по сравнению с прошлым. Тем не менее она не упала до того уровня, который характерен сейчас для России».

Надо отметить, что жесткой границы между наукой и «исторической публицистикой» не существует. Среди участников указанных выше фильмов мы видим таких профессоров, как В.А. Лавров или Н.А. Нарочницкая. А вот в газетах совсем не историки публиковали толковые статьи (С.М. Миронов в «Московских новостях», А. Механик в «Независимой»).

Юбилей революции показал, что «старая школа» историков тихо вымирает. Виктору Петровичу Данилову для того, чтобы сделать выводы о Крестьянской войне 1902–1921 годов или о крахе Столыпинских реформ, пришлось многие годы изучать русскую деревню чуть ли не поезде. Павел Васильевич Волобуев годами сидел в архивах, чтобы написать об экономической политике Временного правительства. Арону Яковлевичу Авреху для того, чтобы сформулировать концепцию общей и непосредственной революционной ситуации, пришлось проштудировать пуды думских стенограмм. Так работала «старая школа».

Сейчас все большее место в исторической науке начинают занимать историки-концептуалисты. В своей книге «Русская история. Новое прочтение» Валерий Соловей пишет, что старики потратили свою жизнь на то, чтобы копаться в вопросах — «Кто?», «Где?», «Когда?», «Как?», — вместо того, чтобы ответить на вопрос «Почему?». Возможно, он прав. Но беда в том, что многие «концептуалисты», отвечая на вопрос «почему?», безбожно путают «где?, кто? и когда?».

И все-таки и у «стариков», и у «молодых» наметились многие точки схождения. Это касается, прежде всего, хронологических рамок революции. Если раньше Февраль, Октябрь, Гражданская война имели свои жесткие хронологические и содержательные границы, то теперь идет изучение всего периода 1917–1920 годов как единого и взаимосвязанного процесса, который никак нельзя разорвать. Поэтому столь модная в 80–90-х годах постановка вопроса, — а нельзя ли было остановиться на Феврале?, — выглядит сегодня просто анахронизмом.

Есть, впрочем, исключения: Андрей Ильич Фурсов расширяет хронологические рамки русской революции до 1929 года, а некоторые авторы — и до 1991 или даже до 2000 годов.

В подобного рода расширении хронологических рамок революции есть определенная тенденция, которую я назвал бы карикатурой на исторический детерминизм. История рассматривается как некий линейный процесс, проходящий через точки А, В, С, D, Е. И если в точке D нет колбасы (1989 год), то это объясняется тем, что в точке В был декрет о продовольственной диктатуре (1918 год).

Между тем все эти точки являются точками бифуркации, когда существовали вполне реальные и принципиально иные альтернативы дальнейшего пути. Пример того же Китая достаточно красноречив.

Прав был Ленин, когда писал, что те, кто пытается объяснить современную политическую ситуацию в России «300-летним монгольским игом», являются всего лишь «политическими фокусниками». И красный террор 1918 года отнюдь не заложил «закономерность» 1937-го. Между ними, конечно, есть связь, но отнюдь не линейная, ибо это разные страницы истории. И между Октябрем и 37-м — свои зигзаги и повороты событий, свои «моря крови», которые как раз и сделали возможным «Большой террор».

В этом смысле наиболее перспективна концепция Вадима Михайловича Межуева, который показывает, как в 20-х годах начинают расходиться социально-революционный процесс и процесс собственно модернизации, который, сохраняя революционную энергетику и атрибутику, постепенно утрачивает социальное содержание Октября. Потому-то оценка пройденного пути в пудах, тоннах, метрах, километрах и штуках никак не определяет «социалистичности» общества.

Точки согласия обозначились и в понимании причин и «почвенности» 1917 года. К примеру, в книге В.Ю. Галина, помимо анализа социально-экономических процессов, предшествующих революции, прослеживается отражение этих процессов в умах таких выдающихся современников, как А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др. И надо прямо сказать, что точность их пророчеств действительно впечатляет.

В недавние годы я трижды публиковал фрагменты докладной записки (март 1914 года) экс-министра внутренних дел П.Н. Дурново Николаю Второму. Недавно ее вновь полно-

стью напечатал журнал «Свободная мысль». «Особенно благоприятную почву для социальных потрясений, — писал Дурново, — представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедуют принципы бессознательного социализма... Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательную, как и социализм широких слоев населения, политическая [т.е. буржуазно-демократическая — В.Л.] революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно вырождается в социалистическое». И дальше он подробно объясняет почему.

И это писалось за три года до «Апрельских тезисов» Ленина. Как видим, царский министр сумел ухватить то, что оказалось не под силу даже Г.В. Плеханову.

Одной из характерных примет проходивших дискуссий стала та, что все большее место в исторических исследованиях ныне занимает изучение социально-психологических факторов событий 1917 года. Можно назвать книгу В.П. Булдакова «Красная смута» и ряд других работ. Особенно интересны те, которые касаются армии. Прежняя формула — «крестьяне, одетые в солдатские шинели», — прежде всего, невразумительна. Да — это крестьяне. Да — это рабочие. Это и интеллигенты — типа математика Федора Линде, который в апреле 17-го вывел солдат против Временного правительства. Но это и некое единое целое. Материализация «союза рабочего класса и крестьянства» в некую социальную группу со своими специфическими интересами, формами поведения.

Война дала народу оружие и, — выстроив повзводно и поротно, — организацию. Это была уже не прежняя «популярная скотинка», но актер исторического процесса. И это в принципе изменило характер диалога между властью и народом. Те из зарубежных авторов, которые пишут о 1917 годе как о чисто «солдатской революции», конечно, не правы. Но роль армии в ходе и исходе событий недооценивать нельзя. В этом смысле особенно интересны работы С.А. Солнцевой, недавно успешно защитившей диссертацию.

То, что диалог между властью и народом, между богатыми и бедными принял в 1917 году столь жесткий характер, — это уже результат всего предшествовавшего периода: виселиц, расстрелов и шомполов столыпинских карателей, бесчело-

вечной бойни войны 1914 года, позорного отступления 1915 года — всего того, что обесценило человеческую жизнь, того, что известный писатель А. Клочков назвал «неотмщенными обидами».

К этому добавился и огромный рост уголовных преступлений после амнистии Керенского, превратившей проблему криминальности в общенациональное бедствие. Вот почему именно погромами и грабежами пугали обывателя противники Октября, полагая, что восстание еще более поднимет криминальную волну. И вот почему в первом обращении ВРК 24 октября преступников предупредили: за малейшее проявление хулиганства, учинение грабежей и погромов вы будете немедленно уничтожены — «стерты с лица земли».

Надо сказать, что разговоры о «демократической альтернативе» 1917 года как-то утихли сами собой. Может быть, сказан был опыт нашего последнего десятилетия. Может быть — обилие документов 1917 года. Но сегодня уже очевидно, что с весны 17-го речь могла идти лишь о диктатуре. Как выразился Павел Николаевич Милюков: «либо Корнилов, либо Ленин», т.е. либо военная генеральская диктатура, либо диктатура большевиков.

Содержательной оказалась и дискуссия о характере Октябрьской революции, проведенная журналом «Альтернативы». Стоит лишь заметить, что споры вокруг «социалистичности» советского общества порой грешат некоторым доктринерством. Создается некий перечень обязательных примет, которыми якобы должен обладать «истинный социализм», а потом это клише накладывается на реальную жизнь. Но если вспомнить, в каких муках и многообразных формах — с прорывами и провалами, победами и поражениями — рождался капитализм, то станет очевидным, что подобный метод исследования малопродуктивен.

Важным событием юбилейных дискуссий стала и постановка относительно новой проблемы: социализм и фашизм. Причем именно в связи с Октябрьской революцией.

В заключение могу лишь добавить, что вполне определился вопрос о значении Русской революции 1917 года. Когда мы говорим «Великая» — это не означает: хорошая или плохая, большая или малая. Речь идет о революции, значение ко-

торой вышло далеко за национальные рамки самой страны. И в этом смысле, вероятно, прав Валерий Соловей, написавший в своей последней книжке, что мировая история знает лишь две Великие революции: Французскую и Русскую — Октябрьскую. Ибо, как правильно написал Джон Рид, 1917 год действительно «потряс мир».

Будет ли когда-либо достигнут консенсус в оценке Октября? Полагаю, что нет. Цицерон сказал когда-то, что первая задача историка — воздержаться от лжи. Вторая — не утаить правды. Третья — не давать повода заподозрить себя в пристрастии или предвзятой враждебности.

Этот «третий пункт» как раз и не выполним, ибо пока в мире есть богатые и бедные, «пристрастия» неизбежны. Я думаю, что Чжоу Эньлай, сказавший по случаю 200-летия Французской революции, что еще рано подводить итоги, имел в виду, прежде всего, это обстоятельство.

Мы все еще живем внутри мифа об Октябрьской революции

А.П. Ненароков,

*д.и.н., Российский государственный архив
современной политической истории*

Если мы хотим конструктивного, а не поляризующего общества, понимания того, что произошло в России 90 лет назад, именно сейчас пора подвести определенные итоги и сделать серьезные и ответственные выводы из того накала страстей, с каким был отмечен юбилей революционных событий в России 1917 года. Он проявился в тоне и формах вспыхнувших с новым жаром дискуссий, в которых, к сожалению, вновь аргументы зачастую подменялись эмоциями, а невежество рождало новые мифы. Конечно, масло в огонь подлила и так называемая юбилейная вакханалия в СМИ. Но замечания в адрес СМИ можно принять лишь с оговоркой, что в большинстве своем именно мы — профессиональные историки, политологи, философы — оказались, с одной стороны, абсолютно не

готовы к неизбежному информационному буму, словно представители коммунальных служб — к зимнему снегопаду. Да и за отсутствие элементарной исторической грамотности у критикуемых нами столь рьяно представителей СМИ ответственность лежит тоже на нас, оказавшихся неспособными обеспечить должный уровень не только школьного и вузовского исторического, но и гуманитарного образования в целом, даже просто отстоять его место и престиж в воспитательном процессе вообще.

Однако главной причиной во многом откровенно удручающего накала страстей стало то, что мы все еще позволяем себе жить «внутри мифа», которым является миф о Великой Октябрьской социалистической революции. Отстаивая его, мы рискуем вновь разжечь то же ожесточение в обществе, которое А.Н. Потресов в 1917 году назвал проявлением классовых инстинктов, исключивших любой диалог между различными социальными слоями и группами. Именно на этом акцентировал свое внимание летом 2007 года в интервью «Шпигелю» А.И. Солженицын, заявив: «"Октябрьская революция" — это миф, созданный победившим большевизмом и полностью усвоенный прогрессистами Запада». Одновременно он подчеркнул: «То, что называется «Российская революция 1917 года», — есть революция Февральская. Её движущие причины действительно вытекали из дореволюционного состояния России... У Февральской революции были глубокие корни... Это, в первую очередь, — долгое взаимное ожесточение образованного общества и власти, которое делало невозможным никакие компромиссы, никакие конструктивные государственные выходы. И наибольшая ответственность — конечно, на власти: за крушение корабля — кто отвечает больше капитана? ...Предпосылки Февраля можно считать "порождением прежнего российского режима"».

Не уверен, что, говоря о «мифе, созданном победившим большевизмом», Солженицын брал в расчет мнение той части российских социал-демократов (меньшевиков) во главе с Ю.О. Мартовым, которая признавала «историческую неизбежность» и «октябрьского переворота», и «прогрессивность одной части того, что совершил большевизм». Иначе он обязательно назвал бы в числе создателей этого мифа не только

«победивший большевизм», но и «проигравший меньшевизм». Жаль, правда, что вместе с тем он абсолютно проигнорировал точку зрения той группы российских социал-демократов, оценки которой близки его собственной позиции. А ведь среди них были такие деятели, как П.Б. Аксельрод, А.Н. Потресов, И.Г. Церетели, Б.О. Богданов, В.С. Войтинский, Г.Д. Кучин, М.И. Либер и др. Они считали, что в 1917 году в России произошла одна революция — Февральская. И закончилась она, когда стало ясно, что большевики во имя «новой полосы в истории России» узурпировали власть, насильственно отстранив от нее всю социалистическую демократию. Конец Февральской революции в России, считали они, наступил тогда, когда Временное рабоче-крестьянское правительство, созданное 25 октября (7 ноября) 1917 г. постановлением Второго съезда Советов «впредь до созыва Учредительного Собрания», разогнало это самое собрание, не пожелавшее продлить его полномочия. То, что было дальше, по их мнению, — было не революцией, а попыткой реализовать, используя власть, утопические идеи. Естественно, эта попытка во многом изменила мир, но России стоила слишком дорого.

Даже, имеющий иную точку зрения, Мартов считал, что большевиков надо осуждать не за захват власти, а за то, какие цели они, «как сознательная сила», поставили перед собой после прихода к власти, как использовали доверие масс. И никаких смягчающих обстоятельств тому, что в жертву бесспорно красивым идеям и лозунгам были принесены миллионы человеческих жизней, никто из российских социал-демократов не видел.

«Разве знамя коммунизма, — спрашивал в одной из своих статей начала 20-х гг. П.Б. Аксельрод, — дает иммунитет на варварское уничтожение и закрепощение полутора миллиона населения? Разве оттого, что победоносная аракчеевщина торжествует свои оргии в коммунистическом облачении, она становится силой менее дикой, менее варварской и менее бесчеловечно жестокой по отношению к трудящимся массам, чем аракчеевщина первобытная, чуждая всяких хитростей и современных идеологий? И, наконец, если полумиллион или хотя бы миллион сторонников и охранителей большевистской диктатуры и принадлежит по своему происхождению в огром-

ном большинстве к крестьянско-рабочей массе и к идейной интеллигенции и состоит даже из людей, серьезно воображающих себя коммунистами и революционным авангардом всемирного пролетариата, призванным спасти всё человечество, — разве это обстоятельство лишает это сравнительно ничтожное меньшинство многомиллионного населения характера властвующего над ним сословия или класса, сменившего помещиков, царское чиновничество: офицерство и царских охранников?».

Аксельроду принадлежит и определение общего и особенного в т.н. теоретическом «санкционировании большевистского режима», с одной стороны, официальным руководством РСДРП, а с другой — их западными коллегами, прежде всего, О. Бауэром. Общим для них являлось, как он считал, стремление объяснить «большевистский захват власти и азиатский режим большевистских правителей ссылками то на якобинскую диктатуру, то на Коммуну». И то и другое Аксельрод отводил, называя «большевистский якобинизм» трагической пародией «на психологической основе геростратизма» и «сверхчеловеческого» аморализма», а ссылки на Парижскую Коммуну отметал «на корню» как «кощунство против социализма и самой идеи пролетарской диктатуры».

Разница же между позицией официального руководства РСДРП и лидеров Рабочего Социалистического Интернационала (а это их, судя по всему, Солженицын называет «прогрессистами») состояла, по мнению Аксельрода, в следующем. «Прогрессистов» большевизм интересовал с точки зрения, может ли он послужить «на пользу Западу» при безусловном отвержении самой возможности подобного явления у себя. А мартовцы выдвигали на первый план необходимость борьбы против «большевистской азиатчины», критикуя при этом западных коллег за то, что те, руководствуясь лозунгом «моя хата с краю», проглядели как большевизм, «аки тать в ночи», появился в их странах.

Обе позиции Аксельрод считал недостаточными и ошибочными.

Позицию Бауэра он вообще называл «двусмысленной». Когда же Потресов сведет ее характеристику к формуле «двойная бухгалтерия — одна мерка для Европы, другая для

России», Аксельрод тут же подхватит ее, определив Бауэра как «теоретика двойной бухгалтерии».

Солженицын может всего этого не знать и об этом не говорить, но те, кто считает себя профессионалами, замалчивать подобные оценки современников событий, отличающиеся от оценок и «победителей» и «проигравших», не имеют права. Между тем многие из историков, политологов, общественных деятелей, вдруг, словно коллективные «*ниныандревы*», кинулись, с достойными лучшего применения энергией и энтузиазмом, отстаивать некие «принципы». В 80-х гг., насколько я знаю, большинство из них знаменитого письма Нины Андреевой открыто не поддержало. Сегодня же они сочли возможным для себя выступить с призывом «вернуть народу праздник» и отмечать каждый год очередную годовщину октябрьских событий 1917 года, которые, на их взгляд, являются «кульминацией великой русской социальной революции XX века». При этом открытыми в своем обращении они оставляют ответы, по крайней мере, на два вопроса: каковы хронологические рамки революции в России и можно ли считать главным результатом Октябрьской революции появление в мире двух социально противоположных систем?

Ответ на вопрос о том, каковы хронологические рамки российской революции, как правило, ныне широко подменяется иногда интересными, но в целом бесплодными концептуалистскими построениями на тему: сколько революций произошло в России в начале XX века? Мы знаем мнение Теодора Шанина, выступившего с обоснованием того, что «Великая русская революция» началась в 1905 году и завершилась к концу 20-х. Это значит одна.

Мы знаем заявление пожизненного секретаря Французской академии Элен Каррер д'Анкосс, которая считает «особенностью, даже уникальностью российской революции» то, что «она длилась очень долго». Начало ее она относит не к октябрю, а к февралю 1917-го, конец — к 1992-му. Это значит две: революция 1905 года и с февраля 1917-го по конец 1992-го.

Некоторые идут еще дальше: отойдя от использования терминологии Великой Французской революции, ее модели для объяснения событий в России, они готовы теперь искать их в обращении к истории русской Смуты XVII в., вновь вводя в

оборот понятие «перманентной революции». Ленин же всегда, независимо от того, что, как и когда говорили или писали по этому поводу отдельные его соратники, с первого своего публичного выступления после выхода из подполья в октябре 1917-го вел речь о «третьей русской революции в России». По его мнению, именно она положила «начало новой полосе в истории России» и «в своем конечном итоге» должна была «привести к победе социализма».

Так кто прав в трактовке октябрьских событий? Ленин? Или современные концептуалисты? Или же те, кто считал последовавшую за октябрём 1917 г. попытку насильственно реализовать утопические идеи «контрреволюцией слева»? Кто неустанно подчеркивал, что любая попытка т.н. концептуального рассмотрения революционных событий в России оборачивается в итоге банальным оправданием («теоретическим санкционированием») большевизма. В самом деле, можно ли считать социалистической революцию, в которой люди оказались всего лишь материалом преобразований? Когда целые поколения приносились в жертву мифическому будущему в условиях полного попрания прав человека, отрицания правового государства и гражданского общества? Можно ли считать социалистическими призывы к обострению классово-борьбы «вплоть до полного уничтожения одного класса другим»? К уничтожению частной собственности? К отмиранию государства? Можно ли считать пролетарской диктатурой, обернувшуюся банальной однопартийной диктатурой, сведшейся, в конце концов, к деспотии коммунистической бюрократии?

Что же касается появления в мире после 1917 года двух социально противоположных систем, то утверждать это можно только закрыв глаза на то, что т.н. «развитого социализма» образца 70–80-х гг. прошлого века больше не существует. Он рухнул сам, не выдержав испытания временем. Хотел бы обратить внимание: десять лет тому назад, выступая с докладом «Размышления об Октябрьской революции», М.С. Горбачев счел нужным в связи с этим подчеркнуть: «Одна из причин происшедшего и главная ошибка большевиков — **еще до Сталина** (выделено нами — А.Н.) — в той “модели”, которая была избрана». Вообще, мне представляется, что и сам упомянутый доклад, и данная в нем жесткая критика того, что М.С. Горба-

чев справедливо назвал «порочным» в большевистской «модели» социализма, все еще остаются недооцененными.

Кстати, следуя за М.С. Горбачевым, считаю нужным повторить за ним: любые, даже самые жесткие и бескомпромиссные, оценки системы не дают права «демонизировать всех советских “вождей” и руководителей всех рангов». Мне бы хотелось лишь добавить к этому одно: и лидеры российских социал-демократов за рубежом, к какому бы крылу — левому или правому — они ни принадлежали, никогда не ставили под сомнение ни стремление В.И. Ленина и большевиков построить новое общество, ни их желание осчастливить рабочих и крестьян. Речь шла и идет лишь о соотношении слов и дел. Никто никогда не ставил, да и сейчас не ставит под сомнение и величие народного подвига, обеспечившего успехи страны Советов на пути модернизации страны, и победу ее в Великой Отечественной войне. Речь шла и идет лишь о цене всего этого.

Мне кажется, что основными итогами из того накала страстей, с каким был встречен 90-летний юбилей российской революции 1917 года, должны стать *отказ от дальнейшего мифотворчества, ответственность, взвешенность и высокий профессионализм при изложении сути событий и построении любых концептуальных конструкций.*

И никакой «двойной бухгалтерии». Пора называть вещи своими именами. Иначе мы никогда не поймем, ни что произошло с нами, ни какое значение это имело для нас и мира.

Революция, определившая XX век

В.Д. Соловей,

д.и.н., МГИМО (У) МИД России

Отмечу важный пункт, относящийся к современности. Дело не в том, что Октябрьскую революцию сейчас хотят дезавуировать или поменять знак ее оценки с положительного на негативный. Дело в том, что из культурно-символического пространства России хотят вообще вычеркнуть память об Октябре, саму идею революции и даже слово «революция».

Была ли Октябрьская революция великой? Безусловно, она была великой. Слово «великая» в данном случае не имеет в виду положительные коннотации, что она была, пользуясь обиходным выражением, «хорошей». В данном случае «величие» — вопрос масштабов изменений и исторических последствий.

Октябрьская революция, действительно, изменила лицо человечества. Когда об этом в советское время говорили коммунисты, то я воспринимал их заявления как сугубо пропагандистский лозунг. Но теперь я уверен в абсолютной исторической правоте данного утверждения. Рядом с Октябрьской революцией можно поставить только Великую Французскую. Никакая другая революция — английская, китайская и т.д. — не стоит вровень с Октябрем по своим масштабам и последствиям. Октябрь, действительно, определил XX век. Это мнение не только историка советской школы, каковым я являюсь, это мнение очень влиятельного на Западе, но практически не известного у нас историко-социологического направления, которое называется «теория революций». Ученые, работающие в его парадигме, указывают, что мировая история знала только две великие революции: Великую французскую и Октябрьскую. Подобных им революций история больше не знала.¹

Возникает вопрос о цене революции. Да, революция стоила России много крови. Но если сравнить эту цену с человеческой ценой Великой Французской революции, то соотношение к численности населения было приблизительно такое же. Если сравнить революционные потери России с потерями, понесенными Германией во время 30-летней войны (30-летняя война XVII в. считается капиталистической революцией), то германские потери были значительно больше русских.

Не следует выводиться потери России от модернизации непосредственно из характера Октябрьской революции. Я не сторонник такой детерминистской зависимости, поскольку

¹ Процессы, происходившие в России с конца 80-х и в 90-е годы XX века, были системной революцией — хотя и не «великой»: сейчас мы живем в новой общественной системе.

потери от модернизации во всех странах были колоссальными, не исключая и пионера модернизации — Англию. Просто там эти потери оказались растянуты на несколько десятилетий и даже столетий. В России они были спрессованы в полтора десятка лет, — но с учетом этой поправки потери более-менее сопоставимы.

Исключительно важен вопрос о том, когда закончилась революция. В теории революций есть два определения — слабое и сильное. Согласно «слабому» определению, революции завершаются тогда, когда консолидируется политическая власть и не остается сил, способных бросить ей явный вызов. По «слабому» определению, Октябрьская революция завершилась в 1921-м году. А по «сильному» определению — чтобы революция завершилась, надо, чтобы отвердели основные социальные и экономические институты, созданные в ее ходе. По «сильному» определению, российская революция завершилась только в середине 30-х годов прошлого века, фактически перед войной.

Всегда очень интересна, но, на мой взгляд, несколько казуистична дискуссия о причинах революции. Для ученых советской школы был характерен жесткий детерминистский подход: Октябрь состоялся — значит, у него были серьезные, фундаментальные предпосылки. Современная наука смотрит на это более скептически. Ее позицию можно выразить парфразом известного места из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»: дело не в том, что революции случаются — дело в том, что они всегда случаются внезапно. Из революционного кризиса вовсе не обязательно рождается революция.

Октябрьская революция начиналась как переворот — но многие революции начинаются как перевороты. Вопрос в том, что следует за этим. А за этим последовало радикальное преобразование всех сфер отечественного бытия. То есть произошла не просто политическая, а системная революция — революция, которая создала новую общественную систему.

Урок Октября — опасность гражданской войны в среде демократии

А.В. Шубин,

д.и.н., Институт российской истории РАН

Марафон конференций — научных, научно-общественных, просто общественных, посвященных 90-летию Октябрьской революции, — хороший повод подвести итоги.

Бросается в глаза колоссальный разрыв научного диалога и того, что мы видим в средствах массовой информации. Необходимо все-таки снять с научного сообщества всяческую ответственность за то, что творится на телевидении с царящей там диктатурой двоечников. Ничего не попишешь — мы живем в эпоху мракобесия, обусловленного социальной регрессией.

Но и на телевидение удастся пробиваться носителям рационального знания. Там, на НТВ, было сделано «открытие мирового значения». Выяснилось, что Ленин все-таки не был немецким шпионом. Для телевидения — это уже немало.

Мы живем в эпоху независимости науки, в том смысле, что от нее ничего не зависит. Но это плата за везение, выпавшее на нашу долю. Образование мы получили там, а возможность работать в архивах — здесь. Это позволяет нам проникать в те сферы, которые ранее находились за семью печатями, и в то же время быть свободными в осмыслении, преодолевая разрыв между конкретными исследованиями и концептуализмом. Увы, усталость от марксистско-ленинских схем разочаровала многих историков в поиске закономерностей исторического развития. Но без определенной системы координат истории научный анализ конкретного материала теряет смысл, а гуманитарное знание погружается в постмодернистский хаос и варварство, соответствующее потребностям полуфеодалной элиты. Но мы ведем арьергардные бои на поле учебников и публицистики, пытаясь поделиться с обществом добытым нами знанием и сохранить рациональный инструментарий, с помощью которого можно обеспечивать хоть ка-

кой-то диалог субкультур с противостоящими историческими мифами. Без такого диалога историческое сознание страны распадается, что создает серьезные угрозы обществу. Мы должны упрямо продолжать наше дело, поддерживать рациональный стандарт диалога субкультур, подвергать мифы рациональной критике и тем сблизать их. Это первый урок юбилейного «марафона», потому что Октябрь — важнейшая позиция в противоборстве и диалоге исторических мифов.

Уже сейчас заметно определенное сближение позиций в среде исторической науки, особенно между близкими направлениями, острота конфликта которых лечится временем и принесенным им эмпирическим материалом. Разногласия разногласиями, а сближение социалистических традиций вполне возможно, тем более что и народническая и марксистская традиции много взяли друг у друга. Как раз важный урок Октября — опасность раскола между левыми тенденциями в их противостоянии элитаристским концепциям, опасность «гражданской войны в среде демократии», как тогда говорили. Много говорилось о необходимости синтеза и союза разных левых традиций — и применительно к конкретной ситуации ноября 1917 г., и применительно к нашему времени. Октябрь в этом отношении — не только стартовая точка советской истории, но и ее модель. Ведь Октябрьский этап Великой Российской революции 1917–1922 гг. не сводится к действиям большевиков, а большевизм — только к ленинской линии. Так и советская культура — это синтез разных идейных традиций, не только марксистского проекта. Что мы построили? Мы построили, конечно же, индустриальное общество и социальное государство. Можно спорить, насколько эффективное. В СССР возник наиболее централистичный вариант этой стадии общественного развития, через которую в другой форме прошли и страны Запада.

Наш переход к «развитому» модерну был болезненным и кровавым, сроки перехода — стремительными, достижения — космическими в прямом и переносном смысле. Эти обстоятельства лежат в основе полемики о советской эпохе, Октябре, Ленине, Сталине, Перестройке. Но это — не споры о социализме, который как общественная система в СССР не возник.

Но социализм в СССР присутствовал — как проект, коммунистический проект. Советская культура, которая вобрала в себя самые разные социалистические традиции и традиции народов страны. В этом отношении она-то как раз имеет наибольшее значение для XXI века. И это тоже урок наших дискуссий.

С этим связан еще один урок научной части современных дискуссий. Октябрь — это не начало тоталитарной эпохи. Можно спорить: был ли у нас тоталитаризм или нечто, что мы понимаем под тоталитаризмом. Но Октябрь — это импульс, направленный не в этом направлении (или — не только в этом) и в некоторых отношениях — даже в противоположном направлении. Из этого проистек заметный разворот в большевистской политике 18-го года. Октябрь был началом советской эпохи с ее многообразием, в которой шло напряженное противоборство авторитарного модернизационного каркаса системы и ее гуманистического культурного содержания и высокого гуманистического проекта.

Это противоборство было болезненным и подчас кровавым. Значит ли это, что коммунистический проект или революционный процесс имманентно связаны с кровопролитием? Кровь льется в истории по разным поводам. Чего стоят войны, колониальное господство и просто ежедневная уголовная хроника. Не забудем, что Октябрь принес не только меч, но и мир. Революционные перемены также не всегда связаны с более значительным насилием, чем предреволюционный «фон». Бывают революции, которые обошлись без террора (1830 и 1848 годы во Франции, Перестройка в СССР и др.).

Насилие в истории коммунистического режима колоссально, и все же оно не беспрецедентно даже в сравнении с историей либеральных государств. Достаточно вспомнить работорговлю, колониальные «голодоморы», геноцид индейцев, на котором основана американская цивилизация. Рекордсменом в скорости массового уничтожения людей является президент США Трумэн...

С другой стороны, можем ли мы считать, что Октябрь или, шире скажем, марксистский проект, или Маркс лично не несут никакой ответственности за то, что происходило потом

в 37-м или в 91-м годах? Не случайно Бакунин, почитав работы Маркса, довольно точно нарисовал портрет общества XX века, существовавшего в Советском Союзе. Между этим обществом и Марксом нет жесткой детерминистской связи, но все же связь есть. При анализе катастроф и провалов советской истории коммунистам стоит «и на себя оборотиться». Все-таки марксистский проект наложил на советскую модернизацию важные, во многом сущностные особенности, так как исходил из строго экономического централизма. Думаю, именно эта черта проекта стала критическим препятствием для его дальнейшего развития в 80-е гг. Впрочем, это уже другая тема.

Марафон дискуссий, посвященных Октябрю, был отличным поводом для левых инвентаризировать свои идеи. Не случайно одно из важнейших событий, которое произошло в это же время, — форум 3 ноября 2007 г., когда левые из четырех республик бывшего СССР собрались в Москве и обсуждали там эти же проблемы. Снова была нащупана, подтверждена конструктивная идея, которая объединяет сейчас большинство левых. В чем основа конструктивной альтернативы, которую социалисты и коммунисты могут противопоставить капитализму? Это — советская самоорганизация, воссоздание Советов. Не тех фасадных Советов, которые существовали в 70-е, а Советов, возникших в 1905 году и добившихся триумфа в 1917 г. Увы, тогда система Советов была еще не отработана, неустойчива и вскоре была поставлена под контроль авторитарным партийным каркасом. Но это — повод для изучения уроков, а не для отрицания идеи. Идеал самоорганизации в Советы — народный идеал, растворенный в нашем обществе, культурная основа которого остается советской.

Проблемы, порожденные Октябрем, по-прежнему не позади, а впереди нас. Пока мы не разрешим этот Октябрьский «коан», мы не сможем остановить регрессию нашей страны и продолжить поступательное развитие.

Октябрьская революция в современной перспективе

В.М. Межуев,
д.ф.н., Институт философии РАН

Прежде чем дать историческую оценку Октябрьской революции, необходимо определиться в своем отношении к революции вообще, в понимании ее места и роли в человеческой истории. Революцию трудно предвидеть и, тем более, предотвратить. Но раз она случилась, бессмысленно предъявлять ей моральный счет, обвинять в жестокости и негуманности. С таким же успехом можно осуждать войны, рабство, эксплуатацию — этим не решишь проблему их существования в истории. Революция по сути своей — действие не моральное или правовое, а силовое. Добрых, не кровавых революций не бывает. Насилие, террор, гражданская война — все, что ставится революции в вину, — вполне легитимные, с революционной точки зрения, средства достижения ею своих целей. Осуждая Октябрьскую революцию, надо осудить тогда и все революционное движение в России, охватившее собой все поколения русской интеллигенции, а заодно и всю русскую историю, ставшую для этого движения питательной почвой. Если почва рождает революцию, последняя рано или поздно напоит ее кровью.

Уже Великая Французская революция поставила перед человечеством проблему, на которую пытались потом ответить лучшие европейские умы: почему любая революция начинается с требования свободы, а заканчивается террором? Почему свобода порождает террор? Русская революция не стала исключением из этого правила. Она как бы описала полную дугу — от короткой, по словам Питирима Сорокина, «демократической увертюры» до грозного финала однопартийной диктатуры. Таков закон любой революции. Не большевики, а начавшаяся в России революция предрешила подобный финал. Бердяев бы прав, называя большевиков не творцами, а орудием революции, которая всегда идет до конца.

Любая революция имеет характер не конструктивного, а деструктивного действия. Итогом ее является не созидание, а разрушение. Это и понятно, так как абсолютная или самодержавная власть, против которой она направлена, не уходит с исторической сцены по собственной воле, может быть устранена только насильственным путем. Но всякое насилие, осуществляемое снизу, имеет своим следствием не свободу, а анархию, победить которую можно с помощью только нового насилия, но уже сверху. Масштаб и длительность этого насилия во многом определяется социальным составом вовлекаемых в революцию общественных классов и слоев.

В революции, как правило, участвуют низы, не имеющие в большинстве своем опыта жизни в политической и экономической свободе, сохраняющие привычки и представления традиционного общества с его делением людей на рабов и господ. Если свободный человек не хочет быть ни рабом, ни господином, то человек с психологией раба мечтает, как правило, стать господином. Такова логика рабского сознания во все времена. Люди, лишённые сознания собственной свободы, могут разрушить старое общество, но не могут построить на его месте более свободное общество. То, что они выдают за новый порядок, почему-то до боли напоминает старый. Об этом когда-то писал Токвиль в своей книге «Старый порядок и революция».

Подобный возврат к старому порядку, пусть и в модифицированной форме, свойственен и Октябрю. Для одних он — торжество исторической справедливости, для других — национальная катастрофа. Кто здесь прав? Не думаю, что наше время может поставить окончательную точку в этом споре. Как теперь ясно, русская революция, начавшаяся в Феврале, не завершилась победой большевиков, а как бы вновь продолжилась после краха советской системы. Поэтому судить об Октябре на основании только его большевистской версии, к чему так склонны и противники, и защитники большевизма, вряд ли правильно.

Возможно, большевики, непосредственно участвовавшие в октябрьском перевороте, искренне думали, что открывают новую страницу в истории человечества — его переход от капитализма к социализму. Эта версия и нуждается сегодня в су-

щественной корректировке. Октябрьский переворот, несомненно, имел антибуржуазную направленность, но отсюда никак не следует, что его следствием стала победа социализма. Возникший в результате прихода большевиков к власти политический режим, получивший название «военного коммунизма», даже по признанию Ленина, сделанному им чуть позже, не имел с социализмом ничего общего. В равной мере он не был демократическим, представляя собой не ограниченную никаким законом диктатуру даже не пролетариата в лице Советов, а одной партии в лице ее вождей. Предпринятая Лениным в последние годы его жизни попытка как-то скорректировать этот режим посредством введения новой экономической политики и организации Рабкрин, как известно, не увенчалась успехом: после его смерти методы командного управления экономикой в сочетании с единоличной властью «отца всех народов» возьмут верх. Ничего, конечно, социалистического и пролетарского в таком режиме быть не могло.

Социальной опорой режима стала крестьянская беднота, вышедшая из нее солдатская и полупролетарская масса, из которой и черпались кадры новой управленческой и интеллектуальной элиты. Ни к какой самоорганизации и самоуправлению эта масса, естественно, была неспособна. Революция в России оказалась в итоге не буржуазно-демократической и даже не пролетарской, а крестьянской, возродившей старый порядок в форме, правда, уже не сословно-дворянской и монархической, а бюрократически-централизованной власти, подмявшей под себя общество целиком и без остатка. Если это социализм, то какой-то архаический, деревенский, азиатско-деспотический, отделенный от европейского (городского) социализма примерно тем же расстоянием, какое отделяет докапиталистическое общество от посткапиталистического.

Даже Маркс думал, что революция, если она произойдет в России, может быть только крестьянской и, следовательно, далекой от всякой демократии. «Настанет русский 1793 год, — предупреждал он, — господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным в истории». В том же духе высказывался и Энгельс: «Она (русская революция — В.М.) начнется, вопреки предсказаниям Бакунина, сверху, во дворце. Но раз начавшись, она увлечет за собой крестьян, и тогда вы

увидите такие сцены, перед которыми побледнеют сцены 93-го года». Уже в конце 90-х гг. в одном из писем к русскому корреспонденту Энгельс писал, что переворот в отсталой стране с многочисленным крестьянским населением может быть осуществлен «ценой страшных страданий и потрясений».

Деревенский социализм — это социализм без свободы и демократии. Но может ли он быть иным в стране с преобладающим большинством крестьянского населения? В такой стране революция, начавшаяся под буржуазно-демократическими лозунгами, быстро перерастает в свою противоположность — в революцию антибуржуазную и антидемократическую. Большевики, однако, — не причина, а следствие недемократичности страны. Демократия отвергалась ими в силу не идеологических убеждений, а по сугубо объективным обстоятельствам — по причине отсутствия у всех форм демократии ответа на два коренных вопроса русской истории, которые в европейских странах были решены задолго до наступления там демократических порядков.

Первый вопрос — крестьянский. Большая часть русского крестьянства жила в условиях общинно-патриархальной деревни, более государства привязывающей Россию к традиционному укладу жизни, служившей основным препятствием на пути ее промышленной и городской модернизации. Можно ли демократическими средствами сломить сопротивление общины? Даже реформа Столыпина, направленная на хуторизацию и фермеризацию сельского населения, носила во многом насильственный характер, поскольку добровольный выход из общины, как показывает мировая практика, затянулся бы на многие века.

Второй вопрос — национальный. Не в том дело, что Россия — многонациональная страна (таких стран много), а в том, что каждый народ живет здесь на своей собственной территории, сохраняет связь со своими богами, языком, традициями и культурой, так и не успевшими переплавиться в одном общем котле. Какая демократия может заставить эти народы жить вместе, в одном государстве? Опыт СССР, ставший наиболее грандиозной в XX в. попыткой сохранения целостности государства при наличии множества образующих его народов, также был не слишком демократическим. СССР так и ос-

тался империей, в которой функцию объединяющего всех властного центра взяла на себя правящая и никем не избираемая коммунистическая партия.

Наличие этих двух нерешенных в русской истории проблем явилось причиной перерождения буржуазно-демократической революции в свою противоположность. То, что стало ее конечным итогом, было в действительности не социализмом, а лишь новым витком начатой царями модернизации страны — ее индустриализации и урбанизации, причем традиционными для России средствами мобилизационной экономики и государственной власти, причем даже более деспотической, чем прежняя. Кому хочется называть то время социализмом, пусть называет. На деле оно означало полный разрыв с социализмом в его сколько-нибудь научном понимании, особенно после провозглашения курса на построение социализма в отдельно взятой стране. Суверенный социализм, якобы построенный в СССР, имел с социализмом не больше общего, чем наша суверенная демократия с демократией, как она понимается во всем мире (кстати, между этими двумя лозунгами есть прямое сходство, вызванное неспособностью страны соответствовать мировым стандартам общецивилизационного развития).

И все-таки победу большевиков в русской революции нельзя назвать ни случайной, ни даже напрасной. Никто больше них не сделал для модернизации страны, пусть и в режиме недемократической власти. Предложенная ими модель развития была для России начала XX века, очевидно, единственно возможной, хотя в настоящее время полностью исчерпала себя. Говорю об этом не с целью оправдания большевистского террора, вызванного неготовностью России — ее народа и власти — к демократическим переменам (она и сейчас во многом не готова к ним), а ради сохранения того позитивного, что принес с собой Октябрь и что не может отрицать ни один объективно мыслящий историк.

Главным результатом Октября стало превращение России из аграрной страны в индустриальную державу, ее переход в фазу индустриального развития. Последствия этого перехода дали о себе знать в качественном изменении социального и профессионального состава работающего населения, в ог-

ромном прогрессе техники, науки, образования, в повышении обороноспособности страны. Не только в целях исторической истины, но в интересах дальнейшей судьбы России нельзя пренебрегать этими результатами. Отречение от них в период ельцинизма геополитически и экономически отбросило Россию далеко назад — не в Петербургскую даже, а в Московскую Русь. Тогда торговали с заграницей пушниной и пенькой, теперь нефтью и газом — вот и вся разница. *Поэтому единственно правильное отношение к Октябрю — не его абсолютизация в качестве высшей и заключительной фазы всего революционного процесса, а возвращение с сохранением достигнутого к тому, ради чего, собственно, эта революция и затевалась — к построению в России демократического и социально справедливого общества.*

Не дореволюционная или советская, а новая демократическая Россия станет историческим оправданием той реальной революции, которая 90 лет назад разыгралась на ее просторах.

О современной мифологии Октябрьской революции и советской истории

Б. Ф. Славин,
д. ф. н., Горбачев-Фонд

Современные дискуссии, посвященные Октябрьской революции, не уменьшили, а увеличили число мифов, связанных с этим величайшем событием в мировой истории. Рассмотрим лишь наиболее типичные из них.

Предварительно сделаем ряд методологических замечаний, без которых трудно обсуждать проблемы революции и советской истории.

Сегодня среди левой, либеральной и консервативной общественности стало модным утверждение о том, что эволюция лучше революции. Вот, например, типичные фразы, которые за последнее время произнесли наиболее известные политики: «нам нужна эволюция, а не революция» (Г. Явлинский); «лимит на революции уже давно исчерпан» (Г. Зюганов); цикл

смены революций и контрреволюций «закончен», в будущем «не будет ни революций, ни контрреволюций!» (В. Путин) и т.д.

Однако подобные утверждения не выдерживают критики. Дело в том, что развитие вообще, и историческое в особенности, не может обойтись без революции, которая есть необходимое условие любых качественных изменений. Эволюция в живых и общественных системах всегда содержит внутри себя революционные моменты, благодаря которым и происходят изменения биологических и социальных видов (формаций). Мыслить эволюцию без революции невозможно ни в биологии (см.: дарвиновскую, или генетическую теорию изменения видов), ни в обществе.

Несколько слов о том, как понимать советскую историю начиная с Октября 1917 года.

Существует ложная, но модная концепция о том, что вся советская история покрывается концепцией тоталитаризма, который якобы возникает в 1917 году и существует до 1991 года. Так, на «круглом столе», посвященном 90-летию Октября, Григорий Явлинский прямо заявил о связи 1917-го и 1937 годов. Суть этой концепции в том, что она стирает качественные различия всех исторических периодов и соответствующих политических режимов, которые были в советской истории. В рамках этой концепции, например, нельзя отличить Ленина от Сталина, сталинский тоталитаризм — от «оттепели» Хрущева, авторитаризм эпохи Брежнева — от демократической перестройки Горбачева. Не говоря о ряде наших ученых, от тоталитарной концепции советской истории давно отказались такие крупные историки Запада, как Роберт Таккер и Стив Коэн, написавшие правдивые книги о Сталине и Бухарине, о борьбе левой и правой оппозиции в первой трети XX века, о причинах падения Советской власти и СССР.

Теперь о некоторых мифах, непосредственно связанных с Октябрьской революцией.

Утверждают, что Октябрьская революция была простым переворотом, произведенным кучкой революционных экстремистов и западных агентов то ли Германии, то ли Англии и США.

Известно, что Октябрьская революция называлась «переворотом» у самих революционеров, в частности этот термин

часто использовали в своих работах Ленин и Троцкий. Означает ли это, что она не была истинной революцией? — Конечно, нет. Если не вдаваться в языковые тонкости, революция — всегда переворот, но не всякий переворот — революция. Революция — это смена класса у власти, то есть это социальный переворот. В этом отличие революции от путча или дворцового переворота, которые реализуются внутри господствующего политического класса. Последние, как правило, ведут к изменению лишь кадрового состава властвующей элиты, не более того. В этой связи Октябрь 1917 года был, конечно, не путчем, не дворцовым переворотом, а Великой социальной революцией, впервые приведшей к власти на долгое время трудовые низы общества: рабочих и крестьян и связанную с ними интеллигенцию. В этом, в частности, и состоит ее историческое значение.

Октябрьская революция была Великой не только по своим мировым последствиям (открыла революционную эпоху, породила в мире две социально противоположные системы, определившие ход исторического развития в XX веке, способствовала началу крушения колониальной системы), но, прежде всего, потому, что ее осуществляло абсолютное большинство народа. Советская власть была не столько властью большевиков, сколько властью, которую рабочие и крестьяне отстаивали с оружием в руках в годы Гражданской войны.

Октябрьская революция была бы невозможна, если бы к русскому пролетариату, составляющему меньшинство общества, не присоединилось крестьянство, составлявшее тогда более 80% населения страны. Поэтому беспочвенны любые разговоры о том, что Октябрь породили революционные экстремисты, отдельные интеллигенты или зарубежные агенты. Когда подобные утверждения исходят от национал-патриотов или радикал-демократов, то это вдвойне парадоксально, ибо получается, что они ни во что не ставят русский народ, который можно использовать как марионетку.

Что касается набившего оскомину мифа *о немецких деньгах и запечатанной пломбой немецком вагоне, в котором Ленин и его соратники приехали в России*, то он давно развеян серьезными зарубежными и отечественными учеными. (См. работы Дж. Кеннана о коллекции Сиссона, Г. Соболева о тайне

немецкого золота, В. Логинова о записках Платтена и др.). Замечу, что этот миф циркулирует уже давно: он еще в 1917 году базировался на сфабрикованных документах, подготовленных в недрах политической полиции. Затем его пытался использовать Сталин для дискредитации Ленина на московском процессе, в котором главную роль провокатора должен был сыграть Н. Бухарин как левый коммунист. К чести Николая Ивановича, он отказался клеветать на Ленина, хотя и был во многом сломлен сталинскими застенками (его покаянные письма «великому вождю народов» просто тяжело читать).

Необходим или случаен Октябрь в русской истории? *Современные мифотворцы доказывают, что никакой закономерности в Октябрьской революции, конечно, не было.* Мало того, по их мнению, она была силой навязана нашей истории кучкой большевиков-русофобов. В действительности Октябрьская революция совершилась не потому, что этого хотели «большевики-русофобы» или «безродная» интеллигенция, исповедовавшая левые взгляды (как думают современные наследники идей, высказанных еще авторами сборника «Вехи»). Она произошла, потому что монархия и сменившее ее временное буржуазное правительство не смогли, да и не хотели решить двух основных и острейших проблем русской жизни: дать землю крестьянам и прекратить кровопролитную войну.

Как известно, «проблема земли» после отмены крепостного права стала хронической для России, ибо большая и лучшая часть земли, несмотря на развитие капитализма, по-прежнему оставалась у помещиков. Мало того, царизм усугубил эту проблему, пытаясь пустить общинные земли в свободный оборот (Столыпинская реформа). На практике это вело к окончательному разорению основной массы крестьянства. Не случайно крестьяне вместе с рабочими, испытавшими на себе все «прелести» капиталистической эксплуатации, стали главными творцами Октябрьской революции.

Есть общий закон революций: они возникают всегда, если власти предрержащие не хотят решать накопившиеся в народе жизненные проблемы. Такие проблемы решали все революции XIX и XX века. Октябрь можно считать апогеем Великой русской революции, начавшейся в 1905 году, продолжившей-

ся в Феврале 1917 года и завершившейся в Октябре того же года.

Попытки царизма обвинить российскую интеллигенцию в революционных настроениях крестьянства опровергаются характерными словами одного из участников крестьянского бунта, которые приводит историк Т. Шанин, о том, что никакие призывы и «листки интеллигенции» не сумели бы поднять мужика на революцию, если бы земля была в его руках. Нечто похожее говорил и Ленин, считая, что Октябрьская революция была бы невозможна, если бы Февральская революция дала землю крестьянам. Но этого не случилось: в итоге народ отвернулся и от Временного правительства, которое так и не сумело дать землю крестьянам. Есть свидетельства, что лидеры меньшевиков в Советах накануне Октября буквально уговаривали Керенского дать землю крестьянам, доказывая, что в противном случае это сделают большевики. Но Керенский их не услышал, чем и подписал приговор собственной власти и власти меньшевиков в Советах. Вот и судите, кто был настоящим русофобом в России? Ленин и большевики, которые дали русскому мужику землю, или министры царского и Временного правительства России, говорящие о своем патриотизме?

С логической точки зрения, именно Февраль должен был дать землю крестьянам, но он этого не сделал, поэтому значение Февральской революции свелось лишь к ликвидации монархии и установлению ряда демократических свобод. В этом смысле она, конечно, уступает по своему значению Французской буржуазной революции, которая в принципе решила ключевой вопрос о земле.

Вместе с землей острейшим вопросом того времени был мир. К нему не стремилась монархическая власть, выдвинувшая лозунг войны до победного конца. Но и Временное правительство не дало мира уставшему от войны народу, потерявшему в ней, кстати, свыше 5 миллионов человек. Ради объективности следует сказать, что Советы, включая большевиков, в этом вопросе долго поддерживали Временное правительство. Лишь после приезда Ленина и его знаменитых Апрельских тезисов большевики провозгласили лозунг: «Никакой поддержки Временному правительству!» и поставили в повестку дня вопрос о необходимости мира.

Как известно, после разгрома реакционного Корниловского мятежа произошла быстрая большевизация Советов. Она практически означала конец Февральской и начало Октябрьской революции, которая совершилась в ночь с 24-го на 25-е Октября 1917 года взятием Зимнего дворца и арестом Временного правительства. Весьма примечательно, что само взятие власти в Питере произошло почти бескровно. В итоге именно Октябрьская революция сразу сделала то, что делали все буржуазные революции мира и что должна была сделать Февральская буржуазно-демократическая революция: она дала российскому народу и землю, и желанный мир.

Основной урок этой революции состоит в том, что власть не должна пренебрегать интересами народа. Если она, занимаясь собственным обогащением и реализацией привилегий, забывает о нуждах простых людей — жди революции. Этот урок актуален и сегодня.

Существует миф о том, что Октябрьская революция была не социалистической, а буржуазно-демократической. На первый взгляд, он соответствовал действительности: и декрет о мире, и декрет о земле, в основу которого был положен известный крестьянский наказ эсерам, являются сугубо демократическими акциями, не выходящими за пределы требований буржуазно-демократической революции. Все так, но, как известно, на этом Октябрьская революция не остановилась. Решив демократические задачи, она пошла дальше, утвердив Советы как власть рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, проведя национализацию земли, превратив в государственную собственность железнодорожный транспорт, наиболее крупные банки, заводы и фабрики, придав законодательные функции госплану, начав добровольную кооперацию и культурную революцию. Социалистический характер Октябрьской революции определяют, во-первых, ее цели; во-вторых, сам рабочий класс как главный демиург этой революции, ведущий за собой многомиллионное крестьянство; в-третьих, Советская власть и те ее конкретные решения, которые закладывали социалистический фундамент в экономику страны и проводили социалистические и демократические преобразования в политической и духовной сферах общества.

Так, социалистическими, по сути своей, были меры, предложенные Лениным в его Политическом завещании. Они предполагали, помимо быстрого развития производительных сил, привлечение к власти «рабочих от станка», проведение антибюрократической реформы Советов и правящей партии, вплоть до снятия с поста генсека И. Сталина за его ошибки в национальном вопросе, за проявления нелояльности к товарищам, за грубость и многочисленные факты злоупотребления личной властью.

В последнее время в научной среде и во многих средствах массовой информации стал распространяться миф о Сталине как «творческом» и «эффективном менеджере», проводившем индустриализацию России, в отличие от «марксистского догматика» Ленина. При этом часто ссылаются на известную характеристику Черчилля о том, что Сталин «взял Россию с собой, а оставил с атомной бомбой».

С подобными утверждениями можно согласиться только в одном случае: если под «творчеством» понимать не теорию НЭПа, с которой выступил Ленин, а сталинский возврат в начале 30-х гг. от НЭПа к политике «военного коммунизма», не ленинскую идею постепенной добровольной кооперации на селе, а «большой скачок», связанный со сталинской коллективизацией. Наконец, не проект деbüroкратизации советского государства, предлагавшийся Лениным, а создание Сталиным тоталитарной системы с ее незаконными массовыми репрессиями и подводившей под нее базу теорией обострения классовой борьбы по мере построения социализма.

На мой взгляд, утверждение о якобы «творческой натуре» «эффективного менеджера» Сталина напоминает известное «творчество» Воланда из «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Отличие только в том, что Воланд в своем писательском воображении применял метод «секир-башка» только к отдельным нехорошим персонажам романа «Мастер и Маргарита», а Сталин пользовался им в реальной действительности применительно к сотням тысячи ни в чем не повинных людей.

На самом деле, никакого «творческого», а тем более «эффективного» менеджера в лице Сталина не было. Он был хитроумным, но недалеким политиком, допускавшим на

практике весьма грубые ошибки. (Это от него исходили нереальные цифры пятилетних планов, абсолютизация чрезвычайных мер в политике, стратегические просчеты в оценке предвоенной ситуации накануне 1941 года, полное пренебрежение ценностью человеческой жизни и т.д.) Как известно, идеи индустриализации, кооперации и культурной революции принадлежали Ленину, а не Сталину. Ленин хотел провести индустриализацию страны, прежде всего, за счет сокращения бюрократического госаппарата, а кооперацию — за счет строгого соблюдения принципа добровольности и постепенной механизации сельского хозяйства на основе появления в деревне не менее двухсот тысяч тракторов.

Ни тот, ни другой завет Ленина не был выполнен Сталиным. Напротив, индустриализация им проводилась чисто волевыми методами с помощью принудительного взимания «дани с крестьянства». Что касается кооперации на селе, то она свелась к известному силовому раскулачиванию не только кулаков, но и середняков с последующим формальным обобществлением примитивного сельскохозяйственного инвентаря (сохи) и изъятием в пользу колхоза нередко единственной лошади или коровы, без которых, вообще, невозможно существование индивидуального крестьянского хозяйства. Результаты подобной политики известны: миллионы человеческих жертв и семейных трагедий, голодомор в большинстве регионов страны, многолетняя стагнация всего сельского хозяйства.

Разрушительные последствия такой политики, естественно, породили сопротивление сталинизму, начиная с многочисленных крестьянских восстаний на юге страны и кончая антисталинскими выступлениями представителей «левой оппозиции», программным демаршем Рютина, обличительным письмом Раскольниковца, критическими высказываниями Крупской, политическими заявлениями Бухарина и других ветеранов партии.

Ответ Сталина был жестким и по-иезуитски расчетливым: он решил уничтожить всех свидетелей своих провалов в политике с помощью насилия, клеветы и самооговора. Используя эти методы, Сталин одновременно перекалывал ответственность за свои политические ошибки на реальных и

вымышленных противников. Мало того, он обвинял их в попытках покушения на его личность, якобы олицетворяющую идеалы партии и Октябрьской революции. Отсюда Большой террор 30-х гг. и превращение во «врагов народа» выдающихся деятелей революции и Советской власти. Отсюда же «дело Кирова» и знаменитые фальсификации Московских процессов, гонения на «старых большевиков» и полная «зачистка» ближайших соратников Ленина, упомянутых в его Политическом завещании.

За связь с «врагами народа» заплатились миллионы ни в чем не повинных граждан. По данным доклада специальной комиссии ЦК КПСС, только в 1937–1938 гг. было репрессировано более полутора миллиона человек, из них расстреляно около семьсот тысяч. Таких «чисток» и жертв не знала мировая история.

Факты сталинских репрессий свидетельствуют о том, что не «революция уничтожала своих детей», как полагают нынешние радикальные либералы, а контрреволюция в лице сталинизма сознательно ликвидировала тот «тонкий слой» ленинской гвардии, на авторитете которого во многом держалась Советская власть. Тем самым уже тогда были заложены глубинные предпосылки ее будущего падения. В этом смысле Сталин был могильщиком революции и дела Ленина. Весьма характерно, что современные поклонники Сталина не устают вновь и вновь повторять различные сталинские мифы и фальсификации Московских процессов, выдавая их за сенсационные открытия. При этом они совершенно не утруждают себя предъявлением каких-либо новых научных фактов, аргументов и доказательств.

Могут спросить: как быть с теми реальными достижениями советского народа, которые были в годы правления Сталина? Ответ очевиден: они существовали, но не благодаря сталинизму, а вопреки ему. Успехов было бы намного больше, если бы не было грубых политических ошибок Сталина.

Советская история была неоднозначной. В ней соседствовали исторические завоевания и трагедии, победы и поражения. Воодушевленные идеалами Октября советские люди творили свою историю вопреки тоталитарному режиму. Это они одержали великую победу над фашизмом, создали непо-

вторимую культуру и литературу, доступную систему социальной защиты населения, первые проложили дорогу в космос. Нельзя забывать, что Октябрь породил невиданную ранее творческую энергию массового созидания нового общества, воплотил в жизнь многие идеи интернационализма, приобщил прежние низы российского общества к высотам национальной и мировой культуры.

Вместе с тем социалистические преобразования в нашей стране всегда носили двойственный характер. В ней можно четко обозначить две взаимно противоположные тенденции: демократическую и бюрократическую. Тенденция демократическая проявлялась тогда, когда улучшалась жизнь народа, когда становилось больше свободы и справедливости. Бюрократическая тенденция сковывала и подмораживала Россию, она превращала ее в авторитарное или тоталитарное государство. В борьбе этих двух тенденций и осуществлялась советская история.

Здесь особо следует отметить значение XX-го съезда КПСС, который стал поворотным событием в советской истории. Он нанес действенный удар по сталинизму. XX съезд во многом вернул изначальный смысл социалистической идее, искаженной теорией и практикой сталинизма. Решения XX съезда имели большой нравственный смысл, возвращавший людям веру в правду и справедливость. Было положено начало преобразованиям государственно-бюрократической системы, обеспечению гражданских прав советских людей, реформированию и демократизации существующей модели социализма. Характерно, что это сегодня не хотят замечать ни ортодоксальные сталинисты, ни либеральные фундаменталисты.

Линия XX съезда была продолжена Перестройкой. Именно в эти годы началось превращение авторитарного социализма брежневской эпохи в гуманный демократический социализм с его гласностью, отменой цензуры, свободой выезда за рубеж, альтернативными выборами и т.д. Однако полностью достичь всех намеченных целей не удалось. Помешал Августовский путч 1991 г., спровоцировавший приход к власти радикальных либералов во главе с Б. Ельциным.

И все же, почему рухнула советская власть? Я разделяю убеждение целого ряда авторитетных ученых², согласно которому Советская власть рухнула, во многом, благодаря ошибкам, допущенным в ходе воплощения в жизнь целей и принципов, рожденных Октябрьской революцией.

Сковывание творческой инициативы людей в условиях тоталитарного режима резко ограничивало возможности роста советской экономики. Дефицит товаров был характерной ее чертой. В результате нам не удалось поднять благосостояние трудящихся до уровня развитых стран мира, что послужило одной из причин крушения советского строя. Вторая важная причина — отсутствие в стране реальной экономической и политической демократии, что особенно стало нетерпимым в условиях развертывания в мире технологической и информационной революции. Наконец, негативную роль сыграла догматизация господствующей коммунистической идеологии, убившей революционную романтику, социальное и духовное творчество народа. Следствием всего этого стало полное отчуждение бюрократической власти и правящей партии от трудящихся. Попытка преодолеть это отчуждение в ходе перестройки не дала должного результата. В итоге падение КПСС и Советской власти стало реальностью, чем и воспользовались политические силы, распустившие СССР и направившие Россию по пути становления дикого олигархического капитализма с его массовой безработицей, падением жизненного уровня народа, глубоким социальным расслоением общества, расцветом национализма и ростом преступности

Но разрушение советской модели не означает, что идеалы Октябрьской революции были ложными. Как христианские идеи не ответственны за практику инквизиции, так сталинский тоталитаризм не в состоянии разрушить идеалы революции. Историческое дело социализма делается не сразу. Сейчас появилось новое поколение молодежи, которое не принимает капитализм как систему. Есть все основания надеяться, что оно сумеет вдохнуть новую жизнь в идеалы Октябрьской революции.

² См. Заявление 17-ти докторов наук по поводу Октябрьской революции в газете «Московские новости» за 1–7 июня 2007 г.

Октябрьская революция и миф об «идентичности социализма и фашизма»

А.А. Галкин,
д.и.н., Горбачев-Фонд

Усилиями части нашей интеллектуальной элиты (скорее, квазиэлиты) в общественное сознание была внедрена мысль об идентичности фашизма и социализма. С «пиаровской» точки зрения, эта мысль очень удобна. Если принять ее за аксиому, то можно выстроить вроде бы непротиворечивую логическую пирамиду. Поскольку Октябрьскую революцию именовали социалистической, значит, ее можно считать неким аналогом переворотов, совершенных Муссолини в Италии, и Гитлером в Германии. Если система, утвердившаяся в России (Советском Союзе), подобна фашистской, то годы Советской власти можно объявить «черной дырой» в отечественной истории и вычеркнуть их из памяти. Концепция подобия позволяет уподобить советских воинов, защищавших свое Отечество, фашистским агрессорам, поработившим всю Европу и пытавшимся стереть с карты мира нашу родину. Поскольку фашистских военных преступников судили Международным трибуналом, заседавшим в Нюрнберге, было бы полезно посадить на скамью подсудимых — за отсутствием живых руководителей тогдашнего Советского Союза — то ли еще не ушедших в иной мир ветеранов, то ли Российскую Федерацию в целом. Разумеется, такой логический вывод делают далеко не все сторонки концепции уподобления.

Между тем, если не покидать почву науки, отстоять указанный тезис, мягко говоря, довольно трудно. Он никак не стыкуется с реалиями.

Однако было бы неверным ставить точку на этой констатации. В рассматриваемом пространстве существует реальная проблема, которая требует детального рассмотрения. Дело в том, что фашизм и социализм представляют собой реакцию на реальные социальные и политические проблемы капиталистического общества, оказавшегося на стадии острого кризиса.

Но ответы, которые они предлагают в этой ситуации, являются не просто альтернативными, но в высшей степени полярными. Одни вырастают из левой системы ценностей, другие — из правоконсервативной. Одни представляют собой попытку «разрулить» сложившуюся ситуацию в интересах социально ущемленного большинства населения. Другие прийти к власти на волне накопившегося социального недовольства.

Важно отдавать себе отчет, что фашизм — это реальный феномен современности — XX, а возможно, и XXI веков. Не учитывая этого, нельзя понять ни недавней истории, ни современного хода событий.

Капиталистическое общество время от времени входит в кризисную фазу. Накапливается множество болезненных противоречий. В обществе (а следовательно, и общественном сознании). В поисках выхода открываются, появляются новые, альтернативные подходы. И если левые силы в каждом конкретном случае не предлагают своему населению убедительных рецептов, если они проходят мимо реальных бед, от которых страдают люди, их место занимают правые радикалы. Они предлагают свои варианты решения больных вопросов. И большинство граждан на какое-то время проникается к ним доверием.

Так, в частности, произошло в свое время в Германии. Веймарскую республику на протяжении всех лет ее существования (1918–1932 гг.) потрясали национальные и социальные конфликты. Крайне острым было в то время чувство национального унижения, в основе которого лежал Версальский договор и последовавшая за ним пренебрежительно-эгоистическая политика по отношению к республике держав-победителей. Левые, погрязшие в междоусобных склоках, начали терять прежнее доверие. В то же время национал-социалисты нащупали реальные болезненные точки, мучавшие германское общество, и заявили о своей готовности избавить его от них. И им поверили — пусть не все, но многие. Главным при этом было то, что нацистам удалось привлечь на свою сторону значительную часть молодежи. Отсюда высокая боеспособность нацистских вооруженных сил, которую пришлось испытать и Западной Европе, и нашим воинам, и сравнительная устойчивость режима, который был уничтожен лишь в результате военного поражения Германии.

Кстати, если наложить аналогичный подход на события 1917 г. в России, то мы получим следующую картину. Существовали две группы альтернатив. Первая: демократия европейского типа — либо военная диктатура. Вторая: углубление социальной революции — либо победа праворадикальных сил, опирающихся на поверившие им массовые слои населения.

Как показала практика, первая оказалась невозможной. Классическая демократия не была в состоянии справиться с многочисленными конфликтами, затопившими страну. Попытка установить военную диктатуру, как известно, не нашла заметной поддержки даже в военных кругах.

Вторая группа альтернатив была реализована в результате прихода к власти партии большевиков. Если бы они ни проявили инициативы, она оказалась бы в руках анархистов или крайне правых популистов со всеми вытекавшими из этого последствиями.

Аналогичные альтернативы могут возникнуть и в наше время. Судя по всему, в мире накопилось немало «горючего материала». Многие острые проблемы не решаются, или решаются не в должной степени. В этой связи возможны различные варианты. Но это особая тема, требующая специального рассмотрения.

Была ли Октябрьская революция социалистической?

М.И. Воейков,

д.э.н., Институт экономики РАН

В своей книге «Размышления об Октябрьской революции», вышедшей в 1997-м году, М.С. Горбачев ставит вопрос следующим образом: «Действительно ли в октябре 17-го года произошла социалистическая революция, а созданный строй — социалистический?». За прошедшие годы научное сообщество, в целом, справилось с этой проблемой и пришло к выводу, что социалистического строя у нас не было.

Остается другой вопрос: была ли революция социалистической? Ведь если не было социализма, то, видимо, и революция была не социалистическая. Одно дело — те названия, которые по разным причинам дают политические деятели, и другое — объективные законы истории, которые не подчиняются самоназваниям. Какая же у нас была революция? Я надеюсь, что к 100-летию юбилею нашей революции мы разберемся и с этим вопросом.

Скажу сразу, что Русская революция 1917 года и ее Октябрьский этап есть великое событие не только истории России, но и мировой истории. Тут не может быть двух мнений. Приведу лишь слова Н.А. Бердяева, который как бы специально отвечает многим наплодившимся сегодня недоброжелателям Русской революции и русской общественной мысли: “Мне глубоко антипатична точка зрения слишком многих эмигрантов согласно которой большевистская революция сделана какими-то злодейскими силами, чуть ли не кучкой преступников, сами же они неизменно пребывают в правде и свете. Ответственны за революцию все, и более всего ответственны реакционные силы старого режима. Я давно считал революцию в России неизбежной и справедливой”³. С этими словами, сказанными великим русским философом в конце жизни, можно лишь солидаризироваться.

Но научный ответ на сомнения в объективности революции и в ее характере коренится в анализе ее материальных и социально-экономических предпосылок. Вопрос о предпосылках и характере Русской революции, по сути дела, сводится к определению степени развитости капитализма в России к 1917 г. Если эта степень была достаточно высокой уже к февралю 1917 г., т. е. если капитализм в России к этому сроку был уже перезрелым, то отсюда следуют два важных вывода. Первый — что Февральская революция 1917 г. вообще была не нужна, ибо капитализм в России в тот период господствовал и процветал. Зачем же делать буржуазную (а по поводу характера Февраля никто не спорит) революцию, если с капитализмом в стране все было прекрасно? Второй вывод: ничтожный срок между “буржуазным” Февралем и “социалистическим”

³ Бердяев Н. А.. Самопознание. М., 1991. С. 226.

Октябрем можно легко объяснить или вообще не принимать во внимание. В общем, все упирается в доказательство степени развитости капитализма в России к началу XX века.

Прежде всего заметим, что нельзя распространять господство (подчеркнем: не развитие, а именно господство) капиталистического строя в России на период второй половины и конца XIX века, не объяснив — что произошло с общиной. Ведь более 80% населения страны в начале XX века составляло сельское население и все или почти все это население было охвачено общинными и натуральными производственными отношениями. По имеющимся данным, 83,2% крестьянской земли в Европейской России в 1905 г. было в общинном пользовании.

Итак, основное население страны жило в деревне и занималось сельским хозяйством, несмотря на бурное развитие промышленности. Некоторые историки утверждают, что и в аграрной сфере происходило интенсивное развитие капиталистических отношений. Действительно, такое развитие имело место. Однако показатели товарности крестьянского сельскохозяйственного производства свидетельствуют о преобладании натуральной формы производства. Так, известные историки-экономисты Н.Д. Кондратьев и П.И. Лященко дают примерно равный процент товарности всей сельскохозяйственной продукции в первом десятилетии XX-го века: 33,3 % (Н. Кондратьев) и 26,0% (П. Лященко). Причем последний отмечает при этом, что середняки и бедняки, производя половину всего хлеба, давали его товарность лишь на 14,7%. Иными словами, несколько более 85 % производства подавляющего большинства населения страны оказывалось натуральным. Это резко контрастирует с бездоказательными утверждениями многих историков советской поры, что к середине XIX века у нас существовало крестьянское хозяйство, “которое уже в значительной мере втянулось в товарное производство”. Дореволюционная русская деревня, объединяющая абсолютное большинство населения страны и тем самым доминирующая во всех сферах русской жизни, была опутана не капиталистическими, а еще феодальными отношениями. В деревенской России господствовали натуральные, архаические отношения.

Теперь рассмотрим численность пролетариата в стране. На этот счет имеются самые разные, порой фантастические представления. Официальный советский историограф “Великой Октябрьской социалистической революции” академик И.И. Минц в своем фундаментальном творении “История Великого Октября” пишет, что “пролетариат и полупролетариат вместе составляли в 1913 г. 64,4% населения страны”. Количество пролетариата — кажется, вполне достаточное для совершения пролетарской революции. Но вот что такое “полупролетариат”? Оказывается, что сюда относятся такие слои населения, как прислуга (лакеи), кустари, мелкие торговцы и прочие категории, которые в марксистской литературе всегда относили к мелкой буржуазии или ее разновидностям.

Но если взять только пролетариат в его узком значении, которое является и наиболее точным, то есть рабочих фабрично-заводской промышленности, то по состоянию на 1917 год мы должны остановиться на цифре примерно в 3 млн. человек. Именно на эту цифру указывают многие специалисты в этом вопросе. Так, статистик трудовых ресурсов Л.Е. Минц приводит таблицу, в которой на 1917 г. дается цифра в 2,9 млн. фабрично-заводских рабочих. Если к этой цифре добавить работников железнодорожного транспорта (рабочих и служащих вместе, ибо мы не располагаем отдельной статистикой по данному разряду) в количестве 520 тыс. человек, постоянно занятых, или даже 905 тыс. вместе с временными и поденными работниками, — то получим около 4 млн. человек.

Итак, к пролетариату, собственно, можно отнести 3–5 млн. человек на почти 160 млн. населения страны в 1917 г. Другими словами, можно сказать, что в России пролетариат в точном смысле этого слова перед революцией 1917 г. составлял примерно 2–3% от всего населения страны. К этому следует добавить, что даже этот ничтожный процент в большинстве своем охватывал рабочих, которые имели давние корни в деревне, далеко еще не оборвали свои связи с сельскохозяйственным производством, психологически и идеологически были близки к мелкой буржуазии.

В начале XX века в стране нужно было создавать как пролетариат, так и само крупное промышленное производство — в этом состояла историческая задача Русской революции. Пы-

таясь стать равноправной европейской державой, Россия нуждалась в серьезной и глубокой модернизации, но после реформы 1861 г. капитализм в стране не смог занять доминирующего положения. В стране не было развитой промышленности, не было индустриальной инфраструктуры. Все это надо было создавать. А для этого необходимы огромные капитальные вложения, которых в стране не было.

С.Ю. Витте начал индустриализацию с развития железнодорожного строительства, которое могло стать импульсом для развития отраслей металлургии и в целом для всей промышленности. Однако из-за острой нехватки средств железнодорожное строительство после 1900 г. захлебнулось. Если в России, в среднем, за год железных дорог строилось: в 1896–1900 гг. — по 3100 верст, то в 1901–1903 гг. по 1902 версты, а в 1908–1913 гг. уже только по 719 верст. В стране не было накопленных капиталов для экономического развития. Таким образом, Русская революция не прервала индустриализацию, начатую еще при Витте, а явилась объективно неизбежным моментом самой индустриализации, которая была закончена уже в 30-х годах XX века. Феодалные социально-экономические отношения не позволяли национальному капиталу создать необходимые накопления. Потому-то и был так силен иностранный капитал.

История ставила перед страной вопрос: или развиваться по пути европейской модернизации, т.е. проводить индустриализацию; или скатываться на периферию мировой экономики. Царское правительство не смогло найти собственных накоплений для индустриализации. Весь талант С.Ю. Витте, прекрасно понимавшего историческую необходимость индустриального развития для страны, ничего не смог сделать в условиях, по существу, феодалных отношений.

Объективная неизбежность революции 1917 г. как модернизационного проекта для России становится ясной. И в этом смысле можно вполне согласиться с В.М. Межуевым, что это был великий модернизационный проект для развития России. Ругать его или хвалить — это другой вопрос. Но то, что этот проект удался, — бесспорно. И мы не вправе давать сегодня указания ни Сергею Витте, ни Владимиру Ленину, как им лучше надо было все это делать.

Но каков был характер самой революции — этот вопрос вызывает большие споры. Действительно ли революция носила социалистический характер, действительно ли большевики сознательно, планомерно и поступательно развивали именно социалистические отношения после революции?

В период “военного коммунизма” мы видим попытку на деле изжить буржуазные отношения, попытку практического осуществления некоторых главнейших социалистических доктрин. Конечно, все это происходило в условиях войны, разрухи, беспорядка. Но доктринальный мотив в действиях большевистского правительства в этот период также очевиден. Однако эта социалистическая доктринальность была эпизодической, не системной; скорее, эмоциональной, чем сознательно и планомерно внедряемой.

При внимательном рассмотрении даже в первых декретах Советской власти можно обнаружить преследование буржуазных принципов (отобрать и поделить по-новому). В пример можно привести декрет “О потребительских кооперативных организациях” от 10 апреля 1918 г., где, в частности, указывалось: “Все торговые предприятия, снабжающие население предметами потребления, облагаются в пользу казны особым сбором в размере 5% их оборота”. Что в этом декрете было социалистического? Ничего. Однако эта буржуазность была, так сказать, скрытая или вынужденная, она не исходила из идеологической доктрины. После периода “военного коммунизма” буржуазные принципы в экономической политике стали проявляться все больше и больше. И не как остатки прежней системы или незаконченности прежних мероприятий, а как принцип новой власти. Это порождало много конфликтов, вызывало большую негативную реакцию в самой партии.

В чем выражалась эта буржуазность? Прежде всего, конечно, в императивах экономического регулирования нормального хозяйственного развития. В усилении и укреплении денежного обращения и вообще всей финансово-кредитной системы, развитии хозяйственного расчета, рыночного оборота, торговли, развитию материального стимулирования труда, коммерческой самостоятельности государственных промышленных предприятий и т.д. Конечно, все эти меры были объективно необходимы, вызваны объективными обстоятель-

ствами и были исторически оправданы. Но они никак не вытекали из марксистской социалистической доктрины. Отсюда и известное выражение, что НЭП — это отступление.

Наконец, обратимся непосредственно к ленинской трактовке революции 1917 г. Во многих исторических и политических работах не высказывается каких-либо сомнений по поводу ленинской трактовки Русской революции 1917 г., особенно октябрьского ее этапа. Почти все утверждают, что Ленин понимал эту революцию как пролетарскую или социалистическую. Однако попробуем усомниться в такой трактовке. По крайней мере, приведем некоторые материалы или прочтем старые материалы по-новому и покажем очевидную неоднозначность именно такой трактовки.

В.И. Ленин до самого Октября 1917 г. не говорил о социалистическом характере предстоящей революции. Это совершенно ясно по отношению к революции 1905 года, которая всеми русскими социал-демократами (и большевиками и меньшевиками) рассматривалась как революция буржуазно-демократическая. Даже на основе этого можно заключить, что будущую революцию в России Ленин рассматривал исключительно как буржуазную. Почему же в 1917 году надо было менять эту точку зрения? Что такого произошло в России за 12 лет? Разве за эти годы капитализм так мощно развился, что производительным силам уже стало тесно в его одеждах? Разве появились ростки новых, социалистических производственных отношений, которые требовали сбросить буржуазную политическую надстройку? Ничего этого не было. Простая логика требует полного сохранения ленинского тезиса о буржуазном характере предстоящей революции и в 1917 году. Поначалу так оно и было.

Если внимательно проанализировать знаменитые Апрельские (1917 г.) тезисы Ленина, то и здесь мы не найдем формулы социалистической революции. Более того, пункт 8 этих тезисов гласит: “Не “введение” социализма, как наша *непосредственная* задача, а переход тотчас лишь к *контролю* со стороны С.Р.Д. за общественным производством и распределением продуктов”⁴. В наброске статьи в защиту «Апрельских

⁴ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 31. С. 116.

тезисов» Ленин еще раз специально подчеркивает: «Революция буржуазная в данной стадии. Поэтому не надо “социалистического эксперимента”⁵.

Таким образом, внимательное чтение апрельских работ Ленина 1917 года и прежде всего “Апрельских тезисов” убеждает в абсолютной неправильности того, что они ориентировали партию на социалистическую революцию.

Перечитаем некоторые места, в казалось бы, хорошо известных работах Ленина, раньше проходившие мимо внимания. Думается, что центральное место в работах Ленина этого периода по интересующему нас вопросу занимает его речь на VIII съезде партии в марте 1919 года. Здесь Ленин говорит: “В стране, где пролетариату пришлось взять власть при помощи крестьянства, где пролетариату выпала роль агента мелкобуржуазной революции, — наша революция до организации комитетов бедноты, т. е. до лета и даже осени 1918 года, была в значительной мере революцией буржуазной. Мы этого сказать не боимся... Но когда стали организовываться комитеты бедноты, — с этого момента наша революция стала революцией *пролетарской*»⁶. Это четкая позиция и четкий аргумент. Но вместе с тем это и очень странный аргумент. Ибо деревенские комитеты бедноты ни каким образом не могут сделать что-то пролетарским.

Рассмотрим все последовательно. Известно, что Комбеды в деревне начали создаваться в связи с Декретом Советской власти от 11 июня 1918 г. об организации деревенской бедноты, а были ликвидированы по решению VI съезда Советов в ноябре 1918 г. То есть они просуществовали всего лишь 5 месяцев. Не вдаваясь в конкретный анализ их деятельности и ее, так сказать, общественной полезности, все-таки отметим, что такое кратковременное существование Комбедов не может свидетельствовать об их особой эффективности или нужности. Тем более что они существовали параллельно с деревенскими Советами и, надо думать, вносили много путаницы и двойственности в осуществление Советской власти в деревне, где к тому же продолжала господствовать традицион-

⁵ Там же, С. 123

⁶ Там же, Т. 38, С. 143.

ная русская община. В конце концов Комбеды объединили с Советами. Но это и значит, что революция так и не стала пролетарской.

Читаем Ленина дальше. В марте 1922 г. в речи на XI съезде партии он вдруг заявляет: «Наша задача — буржуазную революцию довести до конца»⁷. Эта речь на XI съезде очень характерна для уже, видимо, больного Ленина. Но эта речь — одно из последних его принципиальных публичных выступлений. Таким образом, через пять лет после «пролетарской» революции оказалась незаконченной даже буржуазная революция. А когда же тогда была социалистическая?

Ленинская трактовка Русской революции не отличается достаточной четкостью и стабильностью. Действительно, до 1917 г. Ленин говорил о грядущей Русской революции исключительно как о буржуазно-демократической. После 1917 г. иногда он говорил о ней как о социалистической. Но надо признать, что социалистический переворот октября 1917 года он трактовал больше как потенцию строительства социализма, как “пролог всемирной социалистической революции”. Нигде и никогда Ленин не писал о социалистическом обществе, которое должно появиться на второй день после революции.

Итак, не остается ничего другого, как признать Русскую революцию 1917 года единой революцией с двумя крупными этапами (Февраль и Октябрь), носящей в целом буржуазно-демократический характер. Социалистические интенции Октября так и остались интенциями, правда, породили мощное интеллектуальное движение во всем мире.

⁷ Там же, Т. 45, С. с. 107

Демократической альтернативы большевизму не существовало

П.П. Марченя,

*к.и.н., Российский государственный
гуманитарный университет*

Многократно повторяется вопрос о наличии т.н. альтернативы большевизму, тем более — «демократической» альтернативы. Мой тезис состоит в том, что главный миф об Октябре — представление, что в условиях постфевральской смуты 1917-го года его могло бы не быть, и это было бы лучше для России.

Итак, кроме партии большевиков в России были три реальные политические силы, которые участвовали в этом «конкурсе утопий» 1917-го года. Это кадеты, меньшевики и эсеры.

Позволю себе напомнить банальность: демократия — это народовластие. Главным признаком демократии являются не какие-то атрибуты гражданского общества и политической системы. Главным признаком демократии является то, что единственным источником власти провозглашается народ. Поэтому сравним то, что хотел народ, — народные ценности — с ценностями партий, которые претендовали на то, чтобы быть демократическими силами.

Кадеты — «Партия Народной Свободы» (так они именовали себя) — на деле, не имели ничего общего ни с народом, ни с народным пониманием свободы. Главные «демократы без демократии» (которые, по меньшей мере, на 70 лет скомпрометировали саму идею либеральной демократии в России), кадеты очень быстро оказались в массовом сознании самозванно узурпировавшими место Царя-батюшки временщиками и повинными в смуте оборотнями. Они выступали за правовое государство, а когда реально пришли к власти, показали себя силой, которая не умеет применить право, т.е. не может править в России. Фактически они отрицали все народные ценности, а их отвлеченные «кабинетные» идеалы находились в состоянии вопиющего противоречия с массовым сознани-

ем. Видеть в кадетях демократическую альтернативу, по меньшей мере, не серьезно.

Меньшевики декларировали, что выражают интересы пролетариата, призывали все «демократические силы» к единству, но — даже между собой — были согласны разве только в том, что «меньшевизм лучше большевизма». Они считали себя «мозгом революционной демократии», но абсолютное большинство народа во всеуслышание объявляли «аморальным классом». Саму российскую почву они объявили «азиатчиной», не созревшей для их «европейских идеалов». Фактически это было политическим суицидом.

Эсеры, главные «крестьянофилы» страны, претендовали на то, чтобы выражать волю и интересы трудового крестьянства, но в идейно-институциональном смысле уступили инициативу меньшевикам — проводникам воли буржуазии. Отказавшись от поддержки крестьянского радикализма в реализации традиционных лозунгов «Земли и Воли», наши неонародники практически без боя сдали большевикам основной источник своего политического капитала. По сути, они сами отказались от поддержки крестьянства, позволили большевикам вырвать из рук их главный политический инструмент. Фактически большевики сделали с эсерами, если использовать известный библейский сюжет, то, что Далила сделала с Самсоном. А эсеры заметили, что их могущество призрачно, только тогда, когда было уже поздно.

Я далек от идеализации большевизма. Но в конкретно-исторической ситуации постфевральской смуты только большевики смогли предложить идею, которая, действительно, была укоренена в массовом сознании, которая способна была повести массы за собой. Девальвированную официально-монархическую Русскую Идею они сумели реанимировать, заменив комплекс «Православие — Самодержавие — Народность» на комплекс «Коммунизм — Диктатура — Партийность». Они, конечно, использовали демагогию, использовали популизм, были неразборчивы в средствах. Всего этого нельзя отрицать, но — они спасли Россию. Большевики, несмотря на декларированный на словах интернационализм, фактически уловили имперские мессианские ожидания нации. Они сохранили целостность и независимость России. Формально выражая ин-

тересы рабочего класса, большевики действовали, во многом, созвучно крестьянской общине. Фактически они построили свою государственную модель на общинных принципах: демократический централизм, авторитарный коллективизм, патернализм, всеобщая регламентация общественной жизни и т.д. Что это, если не общинная модель?

Большевики не просто использовали политическую платформу Василия Буслаева: «Кто хочет пить и есть готовое, вались к Ваське на широкий двор», хотя это тоже было. Большевики объединили две главные формы народной утопии. Это легенда о мужицком царстве и легенда о царе-освободителе. Можно вспомнить и религиозные корни большевистской утопии — иудео-христианское учение о двух царствах и мессии и даже неоисламское представление о том, что можно заслужить рай искоренением неверных огнем и мечом. В большевизме всё это было.

Только большевизм смог использовать главный ресурс демократии — собственный народ. И в этом смысле нельзя говорить о том, что в то время существовала «демократическая» альтернатива большевизму. По сути дела, это миф, который не выдерживает исторической критики.

Проблема в том, чтобы отказаться от устаревших стереотипов

И.И. Долуцкий,
учитель истории, автор учебника
«Отечественная история. XX век»

Дискуссия об Октябре продолжается уже 90 лет. Видимо, проблема не в том, чтобы добавить новые факты, а в том, чтобы отказаться от устаревших стереотипов. Они все еще абсолютно доминируют.

Нелепо сравнивать Великую французскую революцию и тоже Великую (но по-своему), Октябрьскую революцию по тому принципу, что они обе «великие». Есть книга «Крушение одной иллюзии» — замечательная работа М. Фьоре, знамени-

го французского историка, академика, который доказал, что эти события — совершенно разные «вещи». И доказал это на основе того, что проанализировал последствия этих двух революций. Если одна — французская — открыла дорогу к модернизации, то вторая — российская — дорогу к модернизации закрыла.

Попы марксистского прихода (кажется, это ленинская терминологическая придумка) в который раз пытаются воспроизвести спор почти 40-летней давности, когда многим виделось противоречие не только между «молодым Марксом» и «реальным социализмом», но и «поздним Лениным» и «зрелым Сталиным». Конструируется абстрактный, «подлинно марксистский», незамутненный «социал-демократический социализм с человеческим лицом». Все объяснения «российских отклонений» выводятся из пророчеств Ф. Энгельса полутора-вековой давности. И одновременно прокламируется: СССР построил индустриальное общество и совершил-таки модернизационный прорыв.

Конечно, можно игнорировать критику коммунизма (в том числе и в марксовой разновидности) со стороны М.А. Бакунина и Э. Бернштейна, Н.А. Бердяева и С.Н. Булгакова, К. Поппера, Л. фон Мизеса и Ф. фон Хайека, «старинный» фолиант Ф. Вентури о корнях нашей революции и не столь древние статьи Ю.Г. Буртина. Можно сравнивать ранние рукописи К. Маркса и ветхие писания И.В. Сталина. Можно не обращать внимания на очевидное: везде, где утверждались реальные разновидности коммунизма, он оборачивался к человечеству, скажем так, «своею азиатской рожей». Все можно. Только при этом мы выходим за рамки науки, элементарное требование которой — объяснение фактов и явлений, противоречащих нашим гипотезам и интерпретациям истории.

Проделайте доступный опыт, проанализируйте и сравните «Манифест Коммунистической партии», вторую программу РКП(б) и итоги социалистического строительства в СССР к 1941 г., памятуя о том, что марксизм — не догма, а руководство к действию, и что Сталин еще в 17-м году объявил: он стоит на почве творческого марксизма.

Конечно, можно вслед за меньшевиками 17-го уверять, что революция у нас не пролетарская. А, впрочем, зачем мно-

жить сущности? Достаточно признать, что марксистская разновидность коммунизма, как и любая иная *пролетарская* версия, — утопия уже в силу того, что «свергающий класс», «могильщик» нигде не продемонстрировал ожидаемых от него способностей и не мог этого сделать при тех характеристиках, которыми его наделяли «патриархи-классики» и А. Грамши и которыми он, несомненно, обладал.

В конце концов, хотя Российская империя в начале XX и относилась к странам поздней модернизации (второй эшелон модернизации), оставалась «всего лишь» среднеразвитой (весь означенный комплекс достаточно проанализирован «новым историческим направлением» — П. В. Волобуев, К. Н. Тарновский, К. Л. Майданик и др. — в конце 60-начале 70-х гг. прошлого века), но она была все же пятая экономика в мире! Так что вовсе не минимальные предпосылки именно для *революции* на этой — прединдустриальной и ранней индустриальной стадии в России имелись. Именно с этого уровня (при всех приводящих обстоятельствах) открывался альтернативный выход из кризиса структур «среднеразвитого капитализма». Коммунистический вариант (пролетарски-люмпенско-босаяцкий = «диктатуре бедноты» Г. Бабефа, диктатуре пролетариата и беднейшего крестьянства Ленина, диктатуре черного народа не приемлющих ее меньшевиков) — либо «прусский», «октябристский» (бюрократически-помещичье-буржуазный, он же «белогвардейский»). И тот и другой — диктаторский, и за тем и за другим — меньшинство населения, и тот и другой «персонифицированы» городскими партиями большевиков и кадетов. В любом случае, опыт стран второго эшелона свидетельствует о правоте Ленина: реформистских возможностей выхода из предреволюционного кризиса нет.

В этом была трагедия России сто лет назад. В чем трагедия нашей страны теперь? В том, что у нас до сих пор меньшинство населения считает, что Октябрь — это катастрофа. Я сейчас не разбираю деталей того, что, на самом деле, в Октябре победила шедшая с Февраля демократическая, народная революция. Я сейчас не касаюсь того, что весной 18-го года большевики навязали свой вариант, блокировавший развертывание этой революции. Мы сейчас берем упрощенные факты. В Октябре пришли к власти большевики, поддержанные

левыми эсерами. Из этого будем исходить, будем считать от этого, чтобы не заниматься «расщеплением волоса».

Что сделали Ленин и большевики весной-летом 18-го года — после того, как, придя к власти, укрепились на ее вершине? Они начали внедрять ту военно-коммунистическую модель, которая без всяких изменений воспроизводилась и во второй Программе партии в 19-м году, и в ходе всей гражданской войны 1918–1921 гг. Ее потом более удачно и всеобъемлюще реализовал Сталин. И никто меня не убедил здесь — ни в кулуарах, ни в выступлениях, — что это было не так. Меня убедили не только факты, но их анализ и выводы двух совершенно разных историков: И.И. Минца и М. Малия, полагавших, что именно 18-й год стал годом закладки основ социализма, от которых потом в СССР не отказывались.

Итак, весна 18-го года. Как вы помните, январское законодательство о социализации земли вообще всякую собственность на нее отменило. Между тем общинную землю мужиков, хотя ее формально «дали», а на деле они ее «забрали» сами, начав черный передел с весны 17-го без всяких декретов, государство рассматривало как свою собственность. Поэтому на ней нельзя было жить свободно, свободно торгуя. Свобода торговли ликвидирована тем же январским законодательством. Позднее большевики введут конфискацию земли за дезертирство из Красной армии.

Частная собственность в городах попрана. Попрана даже личная собственность большинства населения страны. Уже, хотя бы по этому параметру, речь не может идти о модернизации. Дальше. Свободы нет. Нет для крестьянина хозяйственной свободы, убиваемой с мая 18-го продовольственной диктатурой, а позднее — разверсткой, начавшейся как продовольственная, а затем превратившейся в разверстку вообще (вплоть до упряжи и веревок). Идет бесшабашная национализация промышленности, названная Лениным красногвардейской атакой на капитал. Ею управляет Высший совет народного хозяйства. Но ведь нет и личной свободы.

Осенью 17-го Ленин рассуждал: республика Советов выше республики с Учредительным собранием? Но, ликвидировав к весне 18-го общедемократические выборные местные органы власти — думы и управы, большевики принялись упра-

зднять социалистические Советы. На местах Советы заменяются комбедами. Из тех Советов, которые большевики убили, устраняются все их политические конкуренты. К концу июля после устранения левых эсеров формируется однопартийная диктатура. Матрица сложилась.

В ее центре — диктатура, т. е., по определению Ленина, власть, опирающаяся не на закон, а на силу. Пока это еще, действительно, диктатура партии, непосредственно у власти — коллегия диктаторов. Но вождь мирового пролетариата не раз повторял, что волю класса часто может лучше выполнить один человек. Вся эта Система пронизана насилием (помните ленинское: теперь не надо бояться человека с ружьем? поспешили, если поверили, — надо, еще как надо!). Она стремится воплотить всеобъемлющую государственную монополию не только на Власть, но на средства производства, продукцию, рабочую силу, распределение. Почему-то Ленину, проанализировавшему «империалистическую монополию» и утверждавшему, что любая монополия ведет к загниванию, не приходило в голову, что и у коммунистической монополии тот же «светлый конец».

Р. Арон писал, что тоталитарные режимы не в процессе развития тоталитарными становятся, они сразу — изначально — тоталитарны. Это был тоталитарный режим уже хотя бы потому, что замышлял перестроить всю Жизнь до основания, переродить человека. Но ведь подобные интенции открыто провозглашали еще Маркс с Энгельсом, предлагавшие «выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности». Это же в их «Манифесте» планируется на другой день после революционного взятия власти и превращения пролетариата в господствующий класс «деспотическое вмешательство» в права собственности: экспроприация земли, конфискация имущества «мятежников», увеличение госсектора в промышленности, национализация банков, введение обязательного труда.

В рукописи 1844 г. Маркс мечтает о коммунизме как положительном упразднении частной собственности. Но «практика социалистического строительства» подарила человечеству иной вариант, там же Марксом рассмотренный: «деспотический коммунизм», «грубый», который уничтожает все то, что не может присвоить, который не возвысился над частной собственностью, а даже не дорос до нее.

Хотите, назовите его фашистским, тоталитарным, этакратическим, как хотите, как угодно назовите. Главное не изменится от «прилагательного».

Поэтому всё, что потом будет рассматриваться как извращение Октября, на самом деле, в социально-экономическом и политическом смысле существовало в виде военного коммунизма. И поэтому не надо делать логической и хронологической подмены. Эта матрица вызвала гражданскую войну. Эту матрицу не приняло большинство населения России. Но она вполне устраивала часть россиян, довольно значительную часть — с большевиками четверть населения. У них тоже есть свой народ. Да, только это маргиналы, люмпены. Молодежь тоже пошла за большевиками, еще как пошла. Половина населения деревни моложе 20 лет, а по всей стране 40% моложе 15 лет. «Коммунизм — это молодость мира! И его возводить молодым!» Естественно, они пошли за большевиками. Особенно после 20-го года. Куда же еще идти — других партий нет. Подробно об этом рассуждает О. Фигес в своей работе «Народная трагедия. Русская революция 1891–1924».

С этой стороны — маргиналы, а с той стороны — хозяева. Да, вот из этих люмпенов вырастает аграрный деспотизм, о котором пишет Моше Левин. А вот из той, из другой — неповской — деревни хозяев еще не известно, что выросло бы. Маргиналу, рвани, пьяни, швали нужен Хозяин, бесспорно. А хозяйственному мужику нужен представитель, ходатай, гласный. Но этот — в нашем случае — неповский путь, после устранения «пруско-октябристской» белой альтернативы, был, на мой взгляд, единственным шансом продолжения (может быть, точнее — начала новой стадии) модернизации, которая разворачивалась в России с 1861 года.

Возвратимся назад. В 17-м году проявилось две социальные революции. Первая революция — действительно, модернизационная и за ней было большинство населения. Оно хотело черного передела и свободной жизни на свободной земле, свободы торговли, демократических (пусть из всех социалистических партий составленных) Советов, местного самоуправления с Учредительным собранием, профсоюзов и рабочего контроля, мира и хлеба. Ничего социалистического здесь не было. Вторая революция — тоже социальная. Она тоже от-

крывала новый путь, но в другом направлении, — путь в тупик. Это революция социалистическая.

Обе революции долгое время шли вместе — с Февраля, по крайней мере. Сила Ленина была, как сказал бы А.И. Герцен, в исторической попутности. Его несло революционным потоком. И он сумел, как кинозвезда Киану Ривз, вспрыгнуть на гребень народной волны, удержаться на нем и добраться до власти, распахав летом-осенью 17-го всех остальных. Да они и не очень-то стремились к этой власти.

Потом, когда размежевание произошло, весной 18-го года, началась гражданская война между белыми, красными и зелеными. Белых было легко разбить. За ними — не более 10 процентов населения. Сложнее оказалось с зелеными. Это же они отстаивали черный передел и свободу торговли, Советы без коммунистов и прочее. Гражданская война красных с ними закончилась вничью. Большевики сохранили власть и остались в городах, даровав мужикам нэп, мужики оставили большевиков в покое, а в деревнях осталась надежда на модернизацию, которую в 29-м году убили. И после, с 29-го года, ничего «модернизирующего» у нас не было. В лучшем случае, была техническая революция. При этом она, оказавшись результатом импорта техники, нимало не изменила сути «государственного способа производства». Потому что не появилось никакой современной промышленности, — а такая промышленность должна и может функционировать только в условиях свободы, рынка, демократии, — ничего этого не было. Как доказал еще Ф. Бродель, промышленность и промышленное развитие сами по себе не составляют современной экономики. Действительно, наши военные и послевоенные «экономические чудеса» — плод технологических и технических заимствований с Запада. Э. Саттон и М. Харрисон показали: за 1930–1965 гг. ни одна крупная технология, ни одно крупное промышленное предприятие не может рассматриваться как чисто советское достижение. Даже такой сторонник идеи «проведения консервативной модернизации», как А.Г. Вишневский в книге «Серп и рубль» признает: механизм саморазвития в советской экономике отсутствовал.

Это был путь в тупик — и темпы строительства этого великого тупика, как говорил Ю.А. Левада, никакой роли не играли.

История начинается с деконструкции исторической мифологии

В.П. Булдаков,

д.и.н., Институт российской истории РАН

Клио не терпит «умников». Не стоит спешить выставлять оценки революции — во Франции этим занимались 200 лет, и только потом началась деконструкция революционного мифа.

Дело в том, что в пространстве большого исторического времени не мы выставляем оценки тем или иным событиям истории, а история выставляет оценки нам самим, нашим способностям жить по ее непростым законам. Так, если кто-то утверждает, что грандиозная революция произошла в России оттого, что Ленину подкинули несколько миллионов, то можно смело сказать, что самому человеку, утверждающему это, — грош цена. Если человек доказывает, что Зимний дворец был взят каким-то немецким спецназом (на телевидении было и такое!), а не солдатами и красногвардейцами, то значит, что его мозги безнадежно перекошены. А, в общем, рассуждения такого порядка — это образ мысли не самостоятельного человека, а особого рода «твари дрожащей», которую любой политик-демагог может повести и завести куда угодно. Иллюстрировать это примерами излишне.

Как вообще изучать революцию? Что я мог бы сказать об этом, ориентируясь на собственный опыт исследователя? Учитывая, что человек — существо, склонное к постоянному самообману, прежде всего, следует избавиться от привычки к буквальному (и эмоциональному) прочтению того, что происходило в прошлом. Так, идеи и лозунги живут в истории не сами по себе, а в воображении людей, которые наполняют их конкретным содержанием. Любые «конкретные» факты в действительности являются продуктом субъективной *интерпретации* увиденного, услышанного, прочитанного и т.д. и т.п. Мы живем в мире воображаемого, особенно применительно к ключевым моментам истории — это то главное, чему мы никак

не можем научиться. На этом фоне рассуждения типа «Революция или переворот?», «Социализм или утопия?» — занятие, извините, пустое.

Приведу очень простой пример. У нас и сегодня постоянно твердят: наш народ — выдающийся исторический коллективист, то есть он был готов для социализма и прочих экспериментов. Спрашивается: кто это придумал? Социалисты-утописты, идеализирующие русскую общину? Но ведь община из своего рода трудового коллектива была превращена в некоторое фискальное сообщество для сбора налогов. А если так, то следует признать, что, независимо от авторства, эта формула наиболее выгодна тем, кто готов ворочать *большими массами* людей, тем, кто не желает иметь дело с человеческой личностью. О коллективизме русского народа надо говорить с принципиальной «оговоркой» — его *делали* «коллективистом» ради удобств бюрократического управления. Под завесой этих представлений его загнали в колхоз, а о том, что он рвался оттуда (как и из общины), конечно, «забыли». В результате человек, социально изувеченный государством, превратился в некое эталонное национально-государственное существо. Разве не абсурд этатизированного воображения?

Чтобы понять революцию, надо, прежде всего, признать, что наши мозги очень основательно «ушиблены» созданными ею самой мифами, не говоря уже о догмах, возникших на этой основе. Во главе угла деятельности ученых, занимающихся историей революций в России, должен стать принцип деидеологизации и деполитизации предмета исследования. Удастся ли это? Конечно, нет — время еще не пришло. Но от этого принципа не надо уходить, забывать о нем исследователю никогда не следует — вот это совершенно очевидно.

В революционной стихии, строго говоря, нет ничего необычного — в целом она развивается по единым человеческим законам. Есть, разумеется, особенности. Скажем, вопрос о преступности революционного времени. В 1917 году преступники усиленно маскировались под революционеров, особенно охотно — под солдат, этих наиболее заметных участников «революционных» (по терминологии большевиков) беспорядков. Подчас невозможно провести грань между уголовщиной и всевозможными квазиреволюционными эксцессами. Извест-

но и о таком непереносимом спутнике русской революции, как дикое пьянство, повальное самогоноварение в деревне — результат малоуместного и более чем несвоевременного «сухого закона». Как до 25 октября 1917 г., так и, особенно, после этой исторической даты по всей России поднялась гигантская волна пьяных погромов. Повсюду солдаты при поддержке (и подстрекательстве) местного населения громили винные склады, поджигали их, лакали потоки спиртного из канав, перепивались до смерти и т.д. и т.п.

Почему обо всем этом стоит напомнить? Говорят, что историки бывают разные: «конкретные» (не выходящие за пределы факта) и «концептуалисты». В связи с этим хотелось бы заметить следующее. Истории не бывает без «факта», который на деле вписывается в нее людьми, скорее, как *артефакт* — его надо еще увидеть, распознать и корректно истолковать. На этой основе в истории складывается некий последовательный повествовательный ряд, в котором можно разглядеть *метанарратив*. Последний, в свою очередь, надо уметь «прочитать». Это означает — уметь очистить его от всяких и всяческих наслоений, мифологических и идеологических в своей основе. История (научная) начинается не с пересказа совокупностей мифов, а с деконструкции исторической мифологии. А чтобы суметь сделать это, надо знать людей, которые заполняют собой и, особенно, своими представлениями пространство истории. Сразу же замечу в связи с этим, что для *нашей* власти людей как таковых, даже пресловутого «народа» в действительности не существовало (и сейчас не существует). Существует некая популяция, которой можно было управлять, с которой можно делать все, что угодно: перемещать в качестве крепостных, депортировать, загонять в колхозы. Для этого следовало постоянно пудрить подданным мозги, вешать им на уши лапшу, убеждая, в частности, что они, как «коллективисты», готовы поддержать всякое начинание «родной» (самодержавной, коммунистической, демократической и т.п.) власти. Это печальная истина всей российской истории. Непреложно и то, что на этой почве возникает целый набор иллюзий, складывающихся в подобие человеческого архетипа. Со всем этим мы и сегодня сталкиваемся на каждом шагу.

Человеку, пытающемуся разобраться в революции, следует думать, прежде всего, об этом, а не о формациях, производственных отношениях или даже собственности. Важно знать: *против чего*, а не во имя чего человек бунтует. А бунтует он против ставшего *слишком* вопиющим вранья власти.

На мой взгляд, метанаррация русской истории (соответственно, и русского бунта) может быть сведена к специфике отношений народа, точнее, «маленького» человека и власти. С чем связана, чем определяется эта специфика? В свое время многие специалисты говорили и рассуждали примерно так: на Западе государство строилось снизу — от общества, а в России, напротив, общество строилось государством. Это далеко не вся правда. Точнее говорить о том, что в России был задействован «территориальный» принцип формирования государственности. Над этим стоит задуматься.

То, что власть у нас, как и повсюду, сакрализована, — известно всем. Но на основании чего это происходило — вот ключ к пониманию причин революционной десакрализации власти. Ясно, что сакрализация власти у нас происходила не по причине делегирования ей известного набора полномочий на дисциплинирующее насилие. У нас сакрализация власти в значительной, если не определяющей, степени связана со способностью контролировать необъятные территории — это залог контроля над вписанным *в него* «обществом». Почему это удавалось власти? Думаю, что преимущественно в силу того, что она более или менее успешно *имитировала* контроль над таким большим пространством, которое обычный человек не способен охватить даже воображением. Это, в свою очередь, давалось власти путем оперативного реагирования на любую — начиная с пространственно-географической (геополитической) — угрозы. В настоящее время это наиболее успешно осуществляется преимущественно не с помощью «визуальных отрядов быстрого реагирования» — с помощью СМИ. Это удастся тем легче, что власть в России не только сакральна, но и в особой степени *воображаема*. Пока она контролирует *большое* пространство — она непомерно сильна. Как только она перестает контролировать это пространство (в конечном счете сферу людских душ), ситуация меняется. В принципе меняется соотношение информационного прост-

ранства и социальной энергетики. Последняя, лишившись привычного (в том числе и навязанного) вектора приложения сил, становится неуправляемой, и тогда и общество, и отношения власти-подчинения, и государство — все идет вразнос. Говоря словами Ленина, «низы не хотят, верхи не могут» — великолепно сформулированный психологический (а не формационно-классовый) закон революции. Так складывается ситуация системного кризиса империи. Правда, сегодня некоторые в такой кризис не верят: согласно «объективным» (экономическим) показателям дореволюционная Россия «процвела».

Что касается подобных, замешанных на «обесчеловеченных» цифрах теорий, бойко оперирующих понятиями «капитализм», «социализм», «буржуазия», «пролетариат», то применительно к России начала XX века они относятся преимущественно к сфере воображаемого. Куда точнее было бы называть Октябрьскую революцию крестьянской, имея в виду не просто деревенское большинство, взбунтовавшееся против чуждых ему «ценностей» городской культуры. Необходимо учитывать психологию и вчерашнего крестьянина на фабрично-заводском производстве, и крестьянина, оказавшегося в окопах совершенно не понятной для него войны. Были, правда, в свое время авторы, договаривавшиеся до утверждений о союзе пролетариата с крестьянством, «свершившемся» на фронте; были и те, которые называли бывшего сельского труженика солдатом-профессионалом. На деле война сделала из крестьян массу маргиналов. И не просто маргиналов — маргиналов разбойничьего, как в Смутное время, пошиба. Его научили убивать, но не объяснили, во имя чего. А когда известные табу сняты, недовольство одних, нетерпение других, ярость третьих сметают все на своем пути.

Примерно так и сложилось в русской революции. То есть один тип «ученого» маргинала в лице интеллигента-социалиста вбросил набор известных идей в голову маргинала совсем иного — погромного — типа, а в результате получилось «грабь награбленное». Если исходить из результатов выборов в Учредительное собрание, то формально «Россия проголосовала за социализм». Однако большинство голосовало не за, а *против* войны и тех, кто ее вел; господ, завладевших «Божьей» зем-

лей. «За» ограничивалось желанием сохранить награбленное при отсутствии ограбленных и сохранении старых отношений власти-подчинения. Обычно этим заканчиваются все революции — сначала кричат: «Долой тиранов!», а потом: «Да здравствуют кандалы!». Все это давно описано. Но правильно ли понято у нас?

Еще труднее понять другое: в XX веке любое деструктивное событие в мире начинает резонировать с мировым целым — информационное (как и социальное) пространство уплотнено. Если мир был поражен поветрием социализма, то любая революция рано или поздно приобретала соответствующую окраску.

Что касается Русской революции, то она вопреки своему внутреннему наполнению стала своего рода мессианским откликом на мировую войну. В конечном счете «социализм в одной, отдельно взятой стране» оказался традиционалистской (крепостнической в своей основе) реакцией на эпоху разнужданного индустриализма. Смириться с подобным «парадоксом» Клио, признаться, что она способна переиграть любую идею, оказывается очень непросто. Отсюда и сегодняшнее непонимание этого «странного» результата «Великого Октября».

«Октябрь» в контексте консервативной революции в Германии

И.А. Женин,

Российский государственный гуманитарный университет

Избранный мною сюжет — осмысление Русской революции в контексте немецкой консервативной мысли периода между Первой и Второй мировыми войнами — демонстрирует всю сложность понимания Русской революции 1917 г. в разные периоды истории и в разных странах. В то же время этот немецкий сюжет доказывает, что значение и влияние «Октября» на судьбы целых народов и отдельных людей, государств и политических систем огромны, и они еще долго будут осмысливаться и изучаться в русле разных интеллектуальных традиций.

Первая немецкая республика, рожденная в результате ноябрьской революции 1918 г., на протяжении всего времени своего существования была отягощена изначально заложенными в ней противоречиями между войной и миром, формой и содержанием, традицией и новаторством, политической волей и слабостью.

Усталость и негодование от затянувшейся и проигранной войны, подавленность и социальное раздражение населения спровоцировали рост и развитие различных «правых», национально окрашенных идеологических движений в немецком обществе 20-х гг. К одной из наиболее неоднозначных и интеллектуально насыщенных концепций подобного рода относится так называемая «консервативная революция».

Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению о сути понятия «консервативная революция». Неоднозначность, возникшая в ходе интерпретации этого феномена, отражает внутреннюю сложность и противоречивость самого явления. К участникам «консервативной революции» относят видных интеллектуалов того времени, таких как К. Шмит, Э. Юнгер, Э.Ю. Юнг, О. Шпанн. Но наиболее яркое, мастерское и детализированное представление о России и понимании Октябрьской революции было представлено в текстах О. Шпенглера, А. Мёллера ван ден Брука, Г. Церера и авторов «круга» журнала «Ди Тат».

«Русская тема» стала одним из идеологических маркеров «консервативной революции» наряду с отказом от идейного наследия Второго рейха; идеализацией прошлого Германии и романтизацией настоящего; доктриной «органического (прусского, немецкого, народного или национального) социализма»; имперским мифом; идеалом «органической народной общности» как антипода атомизированного буржуазного общества; а также попытками противопоставить дезинтегрирующему влиянию западной цивилизации немецкую культурную традицию.

Особой актуальностью в их текстах обладал вопрос о характере и причинах «русской/большевистской революции» и большевизма как явления в контексте русской и мировой истории.

В силу приверженности идеологов «консервативной революции» как романтическому созерцанию, так и ницшеанскому типу интерпретации мира только художественный текст мог объяснить такие нематериальные категории, как «душа» и «идея». В рамках такой познавательной системы будут пониматься и «большевистская революция», и «революционное страдание», и «революционная страсть».

Для интеллектуалов Германии, вне зависимости от их политических пристрастий и убеждений, русская литература сыграла роль основного источника в области познания национального характера русских, их психологии и поведения. Из русской литературы черпали информацию об истории страны, определяли ее настоящее и делали прогнозы на будущее. Особая роль здесь отводилась художественному и философскому наследию великих русских писателей и мыслителей Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского. Творчество последнего манило к себе какой-то загадочной и магической силой.

Толстой и Достоевский выступали в качестве двух «мировоззренческих систем», «временных форм», «сословий» и «сторон света». Изначально заданное противопоставление давало ощущение «приближения» и понимания России. Сооруженная бинарная оппозиция имела как внешний культурный аспект, т.е. выстраивание рассуждений по линии Россия — Германия, Европа — Азия, варварство — культура; так и внутренний культурный аспект: Толстой — Достоевский, Русскость (народ/мужики) — Западничество (образованное меньшинство/западники). В процессе своего роста и развития, следуя логике повествования и аргументации, внешняя и внутренняя оси пересекаются, образуя тем самым систему координат, на которую наносятся «проблемные» точки. Таким образом, понимание Достоевского как воплощение «русскости» приводит к конструкции Достоевский — Россия и Толстого как западничества и Запада соответственно.

Следует учесть, что приход к власти большевиков в октябре 1917 г. обозначался и в соответствии с этим рассматривался как революция. В немецких текстах не встречается обозначение Октябрьской революции как переворота, это либо «русская», но чаще «большевистская революция».

Отправной точкой рассуждений о большевизме и Октябрьской революции может служить оппозиция «Восток — Запад». Петровские реформы, «петровство» разделило общество на «западников» и тех, кто оставался в рамках национальных культурных традиций.

Конфликт между «привнесенной» и национальной русской культурой и образом жизни порождает расщепление российского общества, разделение его на две не понимающие друг друга группы.

В своих ранних работах Освальд Шпенглер видел большевизм как западное явление, не имеющее ничего общего с русским национальным характером.

Большевизм был чуждым, «привнесенным» элементом, продолжающим борьбу с народной, а значит, и подлинной культурой. Такое понимание пронизывало работы Шпенглера в те годы. Именно поэтому им были сделаны выводы о заведомой несостоятельности марксизма и, соответственно, теории пролетарской революции в аграрной России.

Содержание большевизма, его конструкция держится на желании уничтожить существовавший строй и порядок. Парадоксальность построений Шпенглера заключается в том, что русская революция — это борьба внутреннего российского «Запада» с самой собой. Большевизм есть прямое наследие идей и дел Петра Великого. Уничтожение старой царистской России — это реализация новых, более современных европейских моделей политических систем. Основным движущим элементом в осуществлении этих планов является нигилизм. Уничтожение всего, что было до того, и есть главный мотив революции⁹.

Большеви́стское настоящее являлось для Шпенглера реликтом прошлой, уходящей эпохи, которая уничтожила сама себя, следуя своей изощренной логике и строгой рациональности, заменив истинную веру политико-экономическими убеждениями. То, что придало «этой революции ее размах, была не ненависть интеллигенции. То был народ, который без ненависти, лишь из стремления исцелиться от болезни, уничтожил западный мир руками его же подонков, а затем отпра-

⁹ Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. С. 152.

вит следом и их самих — тою же дорогою; не знающий городов народ, тоскующий по своей собственной религии, по своей собственной будущей истории. <...> Христианство Достоевского принадлежит будущему тысячелетию»¹⁰. Инстинктивно и, повинувшись лишь уцелевшим культурно-национальным рефлексам, русский народ смог противопоставить себя воцарившемуся с петровских времен западному культурному влиянию.

«Эпоха Толстого» была признана проигравшей и уступающей свое место новому возрождающемуся самосознанию России. В свою очередь, воскрешение должно было свершиться под знаком Достоевского, который стал не только русским, но и всечеловеческим пророком, считал Мёллер ван ден Брук.

Все русские события воспринимаются через призму мучений, поиска и борьбы героев романов Достоевского¹¹. Среди характеристик русского народа центральным, стержневым свойством было признано страдание, готовность к страданию, которое делает русских одновременно столь душевно проникновенными и мистически глубокими, но одновременно приводит к нечеловеческой жестокости и желанию греха. Через убийство и кровь человек окунается в тяжкие страдания, которые, в свою очередь, помогают ему обрести путь к прощению и спасению. Таким образом, делалось утверждение о том, что истинная заслуга Достоевского заключается в том, что он дал России мифологию — современную, натуралистическую, психологическую мифологию¹².

Достоевский был признан плоть от плоти своего народа «прарусским»¹³ — по выражению Шпенглера. Он — единственный, кто обладал знанием о национальных чаяниях и стремлениях. Достоевский знал, чем живет народ, что его тревожит и мучает и что его ожидает.

¹⁰ Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т.2. Всемирно-исторические перспективы. М., 1998. С.201.

¹¹ Moeller van den Bruck A. Warum Dostojewski // Ders. Rechenschaft über Rubland. Hrsgg. von H. Schwarz. Berlin, 1933. S. 44.

¹² Moeller van den Bruck A. Der Nihilismus und die Revolution. jewski // Ders. Rechenschaft über Rubland. Hrsgg. von H. Schwarz. Berlin, 1933.S. 36.

¹³ Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2....С. 200.

В основе рассуждений Мёллера ван ден Брука оставалось мнение, высказанное им в предисловии к роману «Бесы» в 1906 г. о политическом нигилизме русской революции и революционеров, обладающем религиозной природой и берущем свое начало со времен церковного раскола¹⁴ (точка зрения Евразийцев).

Так же как и Шпенглер, Мёллер увидел в октябрьских событиях 1917 г. подлинную революцию, подчеркивая, что Россия смогла ее осуществить, т.к. «готовилась к революции на протяжении ста лет, начиная с декабристов, через нигилистов, через великую русскую литературу»¹⁵. Определение революции и революционности, ее подлинный характер обладали идеологическим значением, т.к. русская революция противопоставлялась немецкой революции 1918 г.

В отличие от Шпенглера, Мёллер не считал большевиков не понимающими свое отечество западниками и полагал, что большевистская революция представляет собой исключительно русское явление. Под влиянием народного духа и сообразно тем обстоятельствам, которые возникли в результате прихода к власти, большевики превратились из марксистов в русских националистов.

Мёллер: «И если где-либо в какой-нибудь стране марксизм и был опровергнут через свое применение, так это в России»¹⁶.

Национальная составляющая являлась доминирующей в его рассуждениях. Отсутствие понимания этого элемента и порождало такие «экзотические» конструкции, как немецкая коммунистическая партия, пытающаяся построить в Германии русский социализм, который «у каждого народа свой. Россия обладает русским социализмом, он соответствует России, и если бы мы захотели попытаться перенести его, он не соответствовал бы ни одному другому народу. Русская революция опирается на своеобразие России, на ее босячество, на ее нигилистическую интеллигенцию, на ее неестественный проле-

¹⁴ Moeller van den Bruck A. Der Nihilismus und die Revolution... S. 52.

¹⁵ Moeller van den Bruck A. Der dritte Standpunkt // Ders. Das Recht der jungen Volker. Sammlung politischer Aufsätze. Verlag der Nahe Osten. Berlin. 1932. S. 89.

¹⁶ Moeller van den Bruck A. Rubland // Ders. Das Recht der jungen Volker. Sammlung politischer Aufsätze. Verlag der Nahe Osten. Berlin. 1932. S. 65.

тариат». У каждой нации существует своя революция, «и социализм в Германии будет исходить из особых немецких своеобразий»¹⁷. Гневные выпады Мёллера были направлены против немецких коммунистов, которые «полагали, что довольно лишь повторить то, что им продемонстрировал Запад. Они не поняли, что с годами осознали русские революционеры о своей стране в процессе развития русской революции и чему они постепенно следовали в своих действиях: что народная революция может быть только национальной революцией»¹⁸.

Мёллер был одним из первых, кто увидел постепенный отказ большевиков от теории Маркса, практическое воплощение которой невозможно ни в одной стране. Большевики изменились изнутри под влиянием национальной действительности, сохранив при этом внешний интернационализм, необходимый им только для осуществления своих «империалистических» планов, среди которых разрушение немецкой экономики с целью построения своей собственной¹⁹.

Таким образом, делается вывод, что большевистская революция доказала необоснованность намерений европеизации России. Она рассматривалась немецкими консервативными мыслителями как радикальный протест народа против того, что было создано Петром I, как реакция населения на попытку привить им чуждые европейские обычаи и культуру. Поэтому неприятие и непонимание было обращено на чужие «нерусские» элементы, то есть на высшее общество, дворянство, которое на момент революции окончательно утратило связь со своим народом: высшее сословие чувствовало себя европейцами а, значит, было «нерусским» в традиционном понимании — потерявшим связь с духом нации, народной душой, со своим народом.

Рассмотренная в контексте немецкой консервативной мысли Октябрьская революция — это не только смена общественно-политического строя, это крах «европейской» идеи в России.

¹⁷ Moeller van den Bruck A. Der dritte Standpunkt... S. 66.

¹⁸ Moeller van den Bruck. Das Dritte Reich. Berlin, 1923. S. 66.

¹⁹ Moeller van den Bruck. Das Dritte Reich...S. 21.

Октябрьская революция и исторический путь России в XX веке

В. Л. Шейнис,
д.э.н., ИМЭМО РАН

Хотя со дня Октябрьского переворота 1917 г. прошел почти век, его итоги и последствия продолжают будоражить общественную память. Не в пример малозначительному и позабытому эпизоду на исходе Смуты, который будто бы случился 4 ноября 1612 г. и который наша нынешняя власть объявила праздником, пытаюсь заслонить им действительно значимую дату. В отношении к Октябрьской революции наше общество сегодня, как свидетельствуют опросы, расколото — пусть не пополам, как десять лет тому назад, но все же основательно, как и в 1917 г. Если бы машина времени унесла нас на 90 лет назад, то около трети наших соотечественников пошли бы под красные знамена, 6–9% — сражалась бы за белое дело и примерно 40% — постарались бы как-то переждать это время или уехать за рубеж. Так, во всяком случае, видит сейчас свое место в воображаемом прошлом активная часть народа. Октябрь 17-го — непреодоленное, непроясненное, к сожалению, в умах большинства современников, раскалывающее нас и сегодня и незримо присутствующее в нем наше прошлое.

Выведение взвешенного и общепризнанного баланса в понимании события, открывшего для России XX век, по-видимому, еще впереди. Но сделать это невозможно, отвлекаясь от того, чем этот век для страны завершился, от черты, которая на рубеже 1980–90-х подвела итог — по мнению одних, окончательный, других — промежуточный — эпохальному историческому эксперименту, начатому в октябре 1917 года.

Обсуждение в значительной степени вращается вокруг двух вопросов: о характере революции (и в этой связи — о соотношении Октября и Февраля) и о том, в какой мере из Октября вытекало все наше последовавшее за тем развитие. Позволю себе высказать некоторые соображения на этот счет.

Октябрьская, как и Февральская, революция была антифеодальной и антимонархической. Но в отличие от нее — антибуржуазной, антицерковной, антиинтеллигентской (и признавала себя таковой — достаточно вспомнить известное высказывание Ленина об интеллигенции) и нацеленной прежде всего на выход России из войны. И, как это ни покажется парадоксальным на первый взгляд, — демократической, ибо выражала действительные устремления громадных масс народа. Громадных масс — но не абсолютного большинства. Победу Октябрьской революции большевики объясняли тем, что ее отстоял народ с оружием в руках. Отчасти это верно, но не следует забывать, что значительная часть народа (а не одних только «эксплуататорских классов») тоже с оружием в руках сражалась против победителей. Победа большевиков, которые, поднимая восстание, были твердо уверены, что они начинают мировую (во всяком случае — общеевропейскую) социалистическую революцию (и которых в том поджидало жестокое разочарование), определилась не только соотношением сил, которое дало им перевес в решительное время и в решительных пунктах, но и рядом привходящих обстоятельств, позволивших, обладая относительным перевесом, добиться решительных успехов. Иными словами, к осени 1917 г. Россия подошла к исторической развилке (не первой в том году) и выбрала одну из реально существовавших альтернатив — наиболее в то время вероятную.

Была ли та революция социалистической? Очевидно, нет, если под социализмом разуметь утопию, нарисованную Лениным за несколько месяцев до того в известной брошюре «Государство и революция». Я не могу здесь вдаваться в обсуждение вопроса: что вообще есть социализм и заниматься критикой формационной теории, сведенной к «пятичленке». Октябрьские победители ввели в общественный строй России ряд компонентов, которые в их доктрине рисовались как социалистические. Но, во-первых, аналогичные институты стали вызревать в развитых странах, пошедших не революционным, а эволюционным путем. А, во-вторых, в итоге в СССР был учрежден строй, хотя и содержащий ряд признаков доктринального социализма, возведенного в ранг квазирелигиозного «учения», но по сути своей представлявший особую, не из-

вестную дотоле разновидность общественного устройства. Своеобразную комбинацию докапиталистических и некапиталистических институтов, лишенную главного содержания общественного прогресса (по Гегелю) — расширения и упрочения свободы.

Мне импонирует исходная постановка вопроса, содержащаяся в заглавном докладе В. Логинова, — о том, что общественное развитие вообще, как правило, носит не жестко детерминированный, а альтернативный (разумеется, в рамках небезграничного спектра возможностей) характер. Что развития наша страна проходила не раз до и после 1917 года. И что, в частности, Большой террор не непреложно вытекал из Октябрьской победы большевиков. Обсуждение вариантов «что было бы, если бы...» — вовсе не вторжение историка на запретное поле, как часто повторяют, а во многих случаях весьма продуктивный прием исследования. Но альтернативный подход все-таки не должен абстрагироваться от действительного хода событий. Из пакета возможностей выбирался, как правило (хотя и не всегда), наиболее вероятный вариант, для реализации которого имелись самые весомые предпосылки.

А раз так, неверно отделять «военный коммунизм», который насаждался не только под влиянием трудностей гражданской войны, и сталинизм, утверждению которого способствовала также и международная обстановка, от победы в Октябре ультрарадикальной фракции революционного движения. Ставка на безудержное насилие, а не поиск компромисса, нагнетание вражды и ненависти, развертывание стихии грабежа и погрома, низменных страстей толпы, крушащей какой ни есть, но все-таки порядок, вообще не так легко ввести в рамки. А изоляция, истребление и изгнание из страны существенной, если не преобладающей части культурного слоя народа, не могли не сказаться на формировании новой правящей элиты — политического класса, в котором политики, подобные позднему Бухарину, закономерно оказывались в меньшинстве и терпели поражение. О чем, собственно, и предупреждал Плеханов в известном Открытом письме петроградским рабочим, опубликованном через три дня после Октябрьского переворота. И не он один. Большевики не могли услышать это пре-

достережение, ибо насильственная революция занимала центральное место в их политической доктрине, а возбужденные массы людей уже уверовали в горячо одобряемый Лениным «плебейский способ» расправы с врагами и шире того — решения наболевших проблем. Солдатско-крестьянский (по наиболее массовым движущим силам процесса) бунт, а за ним — безоглядная война на уничтожение двух разбойных армий, кровавым катком три года утюжившая всю страну, не могли из себя породить ничего, кроме террористической диктатуры. Когда социальные пласты, в которых десятилетиями накапливалось напряжение, были приведены в движение, открытым оставался лишь вопрос, кто станет осуществлять диктатуру, какими средствами и сколь долго это будет продолжаться. Обстоятельства же складывались так, что вплоть до 1985 г. почти от каждой развилки путей страна избирала наихудший. То есть сначала ужесточения, а когда на этом направлении подошли к пределу, — продления во что бы то ни стало жизни тоталитарного режима.

Я не хочу здесь вдаваться в обсуждение вопроса, насколько безальтернативен был путь от Февраля к Октябрю, на чем настаивает значительная часть исследователей. В бурном потоке событий драматических восьми месяцев прорисовываются по меньшей мере две развилки, когда развитие при тех же примерно объективных, но иных субъективных условиях могло бы пойти по демократическому, консенсусному пути с неизмеримо меньшим насилием — в июне-июле и в сентябре-октябре. Произошло же то, что произошло: события устремились не по единственному возможному, но наиболее вероятному пути. Октябрьская революция стала продолжением и отрицанием революции Февральской и решительным образом изменила жизнь народа.

Она смела с лица земли многое из того, что этого заслуживало. Добила средневековую монархию (не забудем, правда, что еще 1 сентября 1917 г., не дожидаясь Учредительного собрания, Временное правительство провозгласило Россию республикой). Ликвидировала сословный строй и многие из тех специфических, по выражению Горького, «свинцовых мерзостей» дореволюционной жизни, которыми сейчас умиляются плакальщики по «России, которую мы потеряли».

Однако Октябрьская революция не добила добуржуазные формы общественной организации. Она не смела и даже в известной мере реанимировала крестьянскую поземельную общину, на которую так и не решились поднять руку творцы Великих реформ 1860-х годов. Большевики, разменяв земельные преобразования по эсеровским крестьянским наказам на поддержку деревни и армии в Октябре, обратили вспять прогрессивную столыпинскую аграрную реформу. Аграрная революция, осуществившая, наконец-то, «черный передел» не только помещичьих земель, отвечавшая устремлениям пауперизированного крестьянства, возродила на какое-то время дореволюционную общину. Этот институт, почитаемый любителями «соборности» в русской истории и возбуждавший надежды социалистов — сторонников «некапиталистического пути», хотя и отвечал представлениям и жизненному укладу большинства в русской деревне, был пережитком не одного только крепостнического, но и дофеодального строя и едва ли не главным тормозом в социально-экономическом развитии страны в пореформенные десятилетия. Он же облегчил через 10–12 лет после Октября осуществить переход к колхозно-крепостническому строю, неизмеримо более жестокому и реакционному, чем крепостничество на стадии разложения, облегчавшему изъятие у крестьянства не только весь прибавочный, но и изрядную часть необходимого продукта.

Сказав о том, что Октябрю не удалось разрушить в традиционном устройстве России, надо сказать и о том, что было сметено им сразу же или чуть позже. Прежде всего — о культурной буржуазии — о справных деревенских хозяевах (названных «кулаками»). О преобладающей части старой русской интеллигенции. А заодно — о российском протопарламенте (Думе) и несостоявшемся собственно парламенте (Учредительном собрании). О зачатках многопартийной системы, полусвободной прессе и многом другом.

В актив Октябрьской революции записывают обычно невиданное расширение социальной мобильности, приобщение миллионов рабочих и крестьян к современной жизни, к культуре, а многих из тех, кто готов был принять новые «правила игры», — и к власти. Это правда. Мощные лифты подняли массы людей вверх. Но не забудем, что двигались эти лифты не толь-

ко вверх, но и вниз («кто был всем, стал ничем»), и вовне, вытолкнув в эмиграцию, по разным оценкам, от 0,8 до 3 млн. человек, в большинстве представлявших актив, неоценимый фермент предреволюционного русского общества. Кроме того, попадание в двигавшиеся наверх лифты требовало определенных социальных и нравственных качеств. Чем дальше, тем больше предписанные утверждавшейся властью критерии работали на духовное и нравственное разложение народа, общества.

Другой довод, обосновывающий прогрессивный характер Октябрьского переворота, — создание такого механизма, который позволил в короткий срок осуществить индустриализацию (которая, правда, началась за несколько десятилетий до того), помог победить в самой страшной войне, которую когда-либо вела наша страна, и сделал ее на несколько десятилетий сверхдержавой мирового класса. И это тоже правда. Таким механизмом, созданным впервые в мировой истории, стало полное огосударствление собственности, концентрация экономической, социальной, политической власти в одном центре, тотальное подчинение всей жизни общества, вплоть до культурной и семейной, государству.

Был рожден такой всеобъемлющий Левиафан-государство, который не мог привидеться никакому Гоббсу. Создана такая сверхмонополия — «ультраимпериализм», какой не снился никакому Каутскому. Вне рыночные механизмы и государственные институты, выведенные из-под какого бы то ни было общественного контроля, специфическая форма организации господствующего класса в когорты «внутренней», по Орвеллу, партии, выстроенной как «орден меченосцев» на основе «большевистских принципов подбора и расстановки кадров». Все это позволило осуществить концентрацию наличных ресурсов и сделать впечатляющий рывок в создании и развитии индустриальных производительных сил, а также распространить среди населения некоторые элементы современной культуры. На определенном этапе и в определенных пределах были решены задачи развития, сокращения технологического разрыва с передовыми странами.

Не будем сейчас касаться принципиального вопроса об уплаченной за это цене, хотя пройти мимо этого никак нельзя.

Подчеркну здесь лишь то, что на следующем этапе именно монополия экономической и политической власти стала мощным тормозом (Ленин был прав: монополия — тормоз развития), препятствующим переходу с индустриальной на постиндустриальную ступень, стимулировала развитие общего кризиса данного общества и в конечном счете предопределила не только падение строя, но и исключительные трудности такого его преобразования, которое отвечает современным критериям общественного прогресса. Ибо то, что выдавалось за «преимущества социалистической индустриализации» (перекос в пользу промышленности и ВПК), уж, во всяком случае, после Отечественной войны, закрепляло чудовищные народнохозяйственные и социальные диспропорции. Достаточно вспомнить, что в XXI век Россия перетащила деревянные избы в деревне и примитивные пятиэтажки в городах, даже в столицах. Иными словами, модернизация в тех формах, в каких ее провели, сама себя подрывала, становилась саморазрушающим процессом.

Вполне привлекательно обрисованные цели общественного развития, заявленные управителями тоталитарной системы, подменялись фантомами. Несколько слов об одном из них. Сталинисты любят ссылаться на слова, приписываемые Черчиллю: «Сталин получил Россию с сохой, а оставил ее с атомной бомбой». Может быть, Черчилль где-то это сказал, хотя о Сталине и советском режиме он говорил и многое другое. Но заметим, что Россия с сохой хлеб вывозила, а с атомной бомбой — стала импортировать, обрекая преобладающую часть своего населения на скудное существование (временами — на голод, уносивший миллионы жизней). Реализация атомного проекта — хороший пример того, как можно добиться амбициозной цели, подчинив ее достижению концентрации немереных материальных и финансовых ресурсов, лучших умов (в том числе извлеченных из недр ГУЛага) и нацелив разветвленные спецслужбы на добычу чужих секретов. Но что дало обладание ракетно-ядерным оружием? Нельзя ли было обеспечить безопасность страны иными средствами? Скажем, умерив ее мировые амбиции, своевременно уяснив, что невозможно бесконечно удерживать пресловутые «итоги Второй мировой вой-

ны» в виде границы по линии Ялты и Потсдама вопреки воле народов Восточной Европы. Разве не к тому же мы пришли через 40 лет? Когда выяснилось, что колоссальные материальные и моральные ресурсы, брошенные в топку «противостояния двух мировых систем», растрочены впустую или, точнее, себе во вред.

В заключение — о критике революции 1917 г. с консервативных, «почвеннических» позиций. Некоторые ее критики, отвергающие также и Февраль, говорят, что она нарушила историческую преемственность, сломала легитимный ход вещей, уничтожив монархию и исторически присущий нашему народу уклад жизни, во всяком случае — его ценностные основания. Счет предьявляется также и либеральным деятелям, и генералам, вынудившим царя к отречению, и Временному правительству, безуспешно пытавшемуся удержать взбаламученное общество от сползания к правой или левой диктатуре. А большевики изображаются антинациональной силой, действовавшей в интересах и на деньги иностранного государства. Я думаю, что дело обстоит прямо противоположным образом, во всяком случае — при взгляде с сегодняшней дистанции. Ориентация на мировую революцию оказалась сравнительно кратковременным эпизодом, трансформировавшись в привычную внешнюю экспансию, а «иноземный» марксизм был искажен и выхолощен до неузнаваемости. Режим, вышедший из Октябрьской (в отличие от Февральской) революции, во многом восстановил преемственность по отношению к старой царской России. Не только атрибутику, согревавшую сердца «патриотов» и монархистов, но и сущностные элементы, несущие конструкции традиционного режима. Это еще в начале 20-х годов увидел пронизательный В.В. Шульгин: наши идеи, писал он, перелетели через фронт. «Против воли моей, против воли твоей» возрождаются империя с историческими границами, ее опора — армия и самодержавная власть. Конечно, в истории ничто не повторяется в неизменном виде. Но рядом с элементами модернизации вырастает из прошлого, снова и снова возрождается главное — всепроникающее государство, пресловутая «вертикаль власти», которой бьют и бьют поклоны сикофанты режима, несамостоятельность и несправедливость человека и несвобода общества.

Но помимо возрождения реакционных исторических традиций октябрьские победители сами формировали существенные элементы новой парадигмы. Они сумели внедрить в сознание общества приоритет цели перед средствами, некоей социальной «полезности» перед общечеловеческими нравственными ценностями. Сама нравственность проделывала в головах этих людей уродливую трансформацию («морально то, что отвечает задачам пролетариата»).

Социалистическая доктрина постулировала замену рынка фабричной организацией труда в масштабе общества и прямым продуктообменом. Еще в советский период была продемонстрирована неосуществимость этой модели. Экономические связи пытались наладить то ли на основе «преобразованного закона стоимости», то ли ограниченного хозрасчета. Однако номинальное признание товарного производства как важнейшего инструмента экономической жизни, выработанного мировой цивилизацией, и законов рыночного регулирования обесценивалось варварским предубеждением против частной собственности, без которой нет ни рынка, ни полноценного экономического прогресса. Приватизация в тех формах, в каких она у нас была осуществлена, не создала класс независимой буржуазии. Власть чиновника над собственником пережила время всеобщего огосударствления производства.

Столь же выдающимся достижением мировой цивилизации, как и рынок, являются демократические принципы разделения властей, система сдержек и противовесов власти, гарантии прав меньшинства и т.д. Демократии — развивающейся и совершенствующейся политической системе современного общества — были воинствующим образом противопоставлены диктатура будто бы пролетариата, концентрация всей власти в руках Советов, избираемых и работающих на основе примитивных процедур (и потому ставших лишь прикрытием власти партийно-государственной бюрократии), и т.п. Инвариант демократии как таковой в теории и пропаганде размышлялся ее разделением на «буржуазную», «пролетарскую», «народную» и т.д., а на практике искажался «руководящей и направляющей ролью партии» (на деле — ее самоназначавшейся верхушки). Метастазы этого подхода несложно усмотреть в

концептах «управляемой», «суверенной» и любой другой негражденной ограничительным эпитетом демократии.

В конце XX в., как казалось, наше общество начинало осознавать тупиковость исторического пути, на который его столкнули в 1917 г. Но не прошло и десяти лет, как с невероятной быстротой произошла регенерация режима, в главных, сущностных основаниях воспроизводящего привычную для нашей страны модель. Квазичастная собственность и квазикапитализм, явленные в виде НЭПа, а затем раздавленные в 30-х годах, квазидемократическая и бездействовавшая Конституция, введенная на пике Большого террора, квазикультурная революция, сделавшая сознание миллионов людей податливым, как пластилин, к «внешнему управлению», их озабоченность силой и величию «державы». Таков опыт, вынесенный нашей страной из послеоктябрьской истории. Созвучные этому опыту, более глубокие пласты исторической памяти России — монархической, крепостнической и имперской — поднялись как из-под земли после «периода бури и натиска» рубежа 1980–90 гг.

Не отдав должного пройденным, но не позабытым «этапам большого пути», предшествовавшим дню сегодняшнему, нельзя уяснить проблемы, которые отягощают — и, вероятно, еще долго будут отягощать — жизнь российского общества

Октябрьская революция и западный мир

А.Б. Вебер,

д.и.н., Горбачев-Фонд

Слишком часто приходится слышать и читать рассуждения, в основе которых лежит рассмотрение Русской революции 1917 г. вне исторического контекста, вне реальной ситуации, в которой находилась тогдашняя Россия. Она была не замкнутым пространством, а частью системы европейских государств и участницей мировой войны, не случайно получившей название империалистической. Революция произошла в условиях этой войны — во многом вследствие того, что народ ус-

тал и не хотел больше воевать. Солженицын, возможно, прав, когда написал, что революция произошла потому, что солдаты Петроградского гарнизона не хотели идти на фронт. Но почему они должны были хотеть идти на фронт и участвовать в этой, в общем-то, бессмысленной бойне, унесшей миллионы жизней? За что, за какие цели они должны были воевать? За проливы, за интересы династии? Я думаю, что революцию 1917-го года невозможно понять вне ее связи с Первой мировой войной, как бы ни оценивались «плюсы», «минусы» и последствия самой революции.

Я подчеркиваю значение этой связи — мировая война и революция — в особенности потому, что она (связь) имеет непосредственное отношение к объяснению влияния революционных событий в России на западный мир. Это влияние изначально было крайне неоднозначным, как и последствия самой Октябрьской революции для России. Тем более это верно в отношении Запада — прежде всего, потому, что ведущие страны Запада стояли на более высокой ступени общественного и экономического развития.

К тому времени Англия, Германия, Франция, США значительно дальше продвинулись по пути индустриализации. Промышленный рабочий класс сложился здесь уже в нескольких поколениях. Были легализованы профсоюзы: в Англии в них входили 4 млн. человек, в Германии — 3 млн., в США — 2,7 млн., во Франции — более 1 млн. человек. Членами профсоюзов были, преимущественно, квалифицированные рабочие. Массовые профсоюзы стали, пользуясь выражением Маркса, «экономическим фактом». Также получили распространение рабочие потребительские кооперативы, практика коллективных договоров.

Набирало динамику социалистическое рабочее движение. Немецкие социал-демократы на выборах 1890 года (после отмены «закона о социалистах») получили 1,5 млн. голосов, а в 1912 году — 35% (в крупных городах — более половины). Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) издавала 90 газет. Накануне войны (в 1912 г.) в СДПГ было более 1 млн. членов, а в целом, рабочие партии в Западной Европе насчитывали 4,2 млн. членов.

В политической системе укоренились выборные парламентские институты. Почти везде избирательными правами уже пользовалось большинство мужчин. Правящие классы все больше склонялись к политике социальных реформ. Появились некоторые виды социального страхования — правда, большей частью еще необязательного, но при государственной поддержке. Сократилась продолжительность рабочей недели — в среднем с 78 часов в 1870 году до 60 в 1910 (т.е. с 13 до 10 часов в день). За последнюю треть XIX века на 30–50% выросла реальная заработная плата (главным образом, вследствие снижения цен).

В западноевропейском рабочем движении наметилось движение в направлении тред-юнионизма и реформизма. Второй Интернационал, вопреки ожиданиям Маркса и Энгельса, не стал коммунистическим. В его партиях подспудно назревал разрыв между революционной фразеологией программных документов и реформистской практикой.

Российская ситуация была иной. Промышленный переворот развернулся здесь в 90-е годы — на 100 лет позже, чем в Англии, на 50–60 лет позже, чем в Германии и Франции. Хотя уже появились отдельные очаги крупной промышленности (Петербург, Москва, Урал), страна оставалась преимущественно аграрной, с сильными пережитками докапиталистических отношений и преобладанием крестьянского населения.

На некоторое время мировая война уравнила Россию и другие воюющие страны. Уравнила теми огромными страданиями и потерями, которые война принесла народам. В массах накапливалось ожесточение, даже озлобление против властей и политиков, ввергнувших народы в кровавую бойню или защищавших войну. Революционные события в России вселяли многим надежду на изменение того порядка вещей, который привел к мировой войне.

Подъем революционных настроений в воюющих странах на исходе войны ускорил размежевание в рядах европейской социал-демократии — на правых и левых, реформистов и радикалов. В Германии от социал-демократии «большинства» отделилась Независимая СДП. Ее члены приветствовали Февральскую революцию (конечно, с надеждой на то, что на Вос-

токе наступит мир) и сначала позитивно восприняли и приход к власти большевиков — как «партии мира».

Социалистические силы Западной Европы оказались перед трудной дилеммой: последовать примеру большевиков или искать свой «путь к власти» («Путь к власти» — название работы Каутского, опубликованной еще в 1909 году). Для той части немецкой социал-демократии, которая оставалась на революционных позициях, Октябрьская революция стала вызовом: как бороться за власть в условиях, существенно отличавшихся от российских?

Поиски ответа отразились в известной полемике Каутского и Ленина. Каутский отвергал большевистскую «диктатуру меньшинства», как он это называл, и отстаивал лозунг завоевания власти через парламентскую демократию. Для Ленина это было равносильно предательству. Большевики рассчитывали на скорую победу пролетарской революции в Европе и, прежде всего, в Германии. Если эти надежды не оправдались, то, конечно, не просто из-за измены лидеров социал-демократии (как считалось когда-то), а по более глубоким причинам.

Война создала в воюющих странах особый социально-психологический климат, который способствовал распространению нелегитимного насилия. На исходе войны произошли восстания в Германии — в Киле, в Берлине. По примеру России создавались Советы рабочих и солдатских депутатов. Были попытки установить Советскую власть в Баварии, Венгрии, Словакии, но они довольно быстро были подавлены. Более успешными оказались национально-освободительные движения — на карте Европы появились новые государства.

Перипетиям революции и контрреволюции в Германии, других странах Европы посвящена обширная литература. Хотелось бы привести один только факт. В Германии за четыре года после Ноябрьской революции произошло, по меньшей мере, 376 политических убийств. Среди самых известных жертв были Роза Люксембург и Карл Либкнехт — вожди «Союза Спартака», социал-демократы Гаазе и Айснер («независимцы»), Эрцбергер из партии Центра.

Правящие классы Западной Европы мобилизовали все силы, чтобы не допустить распространения «революционной заразы». В отличие от России буржуазия в Германии и других

западных странах была к тому времени неплохо организована. Угроза революции побудила ее укрепить систему предпринимательских организаций и их связи с сохранившимся государственным аппаратом и с военными, выступавшими главной силой в подавлении революционных выступлений. Эти выступления толкнули значительную часть населения в объятия реакции. Множество людей стали жертвами «белого террора». В Италии «красное двухлетие» 1920/21 гг. обернулось установлением фашистского режима.

Но и там, где сохранялись парламентские формы правления, власти ответили репрессивными мерами на подъем рабочего движения. В США, в обстановке нахлынувшей волны «красного страха» (1919–1920), правительство развернуло кампанию полицейских и судебных расправ с участниками стачек. Министр юстиции М. Палмер и директор ФБР Э. Гувер лично руководили операциями по разгрому центров радикальных рабочих организаций. В 1919 году в 24 штатах были приняты законы против «подстрекательства к беспорядкам» и «преступного синдикализма». В 1921 году Верховный суд США разрешил применять к профсоюзам антитрестовское законодательство, открыв тем самым простор для применения практики судебных предписаний против профсоюзов.

В 1919 году в Англии правительство Ллойд Джорджа учредило специальный государственный орган для срыва забастовок — Комитет по организации снабжения и транспорта. Спустя год парламент принял Закон о чрезвычайном положении, также направленный против потенциальных забастовщиков. В тот период, отмечают историки, сменявшие друг друга английские кабинеты считали угрозой «насильственной революции» более реальной, чем это предполагали сами революционеры. Страх перед революцией, опасение, что конфликты в промышленности могут оказаться «верхушкой революционного айсберга», придавали правительственной реакции на стачки гипертрофированные масштабы.

Основание в марте 1919 года Коммунистического интернационала означало окончательный раскол международного социалистического движения, разделившегося на два враждебных лагеря — социал-демократический и коммунистический. Часть левых социал-демократов ушла к коммунистам.

90-летие Октябрьской революции

Правые объединились под эгидой восстановленного II Интернационала (т.н. Бернского), большинство центристских партий оказались в Венском (т.н. «двухполовинном») интернационале. В 1923 году они объединились в Социалистическом рабочем интернационале.

Социал-демократы реформистского толка в основном сохранили преобладающее влияние в рабочем движении. СДПГ на выборах в январе 1919 года получила 11,5 млн. голосов (37,9%), «независимцы» — 2,3 млн. (7,6%). В 1920 году партии II-го и «двухполовинного» интернационалов (в 40 странах) насчитывали около 8 млн. членов, компартии (без РКП) — примерно 1 млн. членов.

Попытка Коминтерна и КПГ вызвать новый революционный подъем в Германии (восстание в Гамбурге, 1923 г.) дала, скорее, обратный результат — спровоцировала новую волну реакции, но не подорвала реформизма в рабочем движении и не дала решающего перевеса коммунистам.

Соотношение сил в рабочем движении на Западе (1924–29 гг.)

	Реформистские	Коммунистические
Членов профсоюзов	28-32 млн.	17 млн.
Членов партий	6,5 млн.	445 тыс.
Избирателей	25 млн.	6,5 млн.

Прибегая к репрессиям в отношении леворадикальных течений в рабочем и социалистическом движении, правительства в западных странах вынуждены были одновременно пойти на ряд важных социальных и политических реформ. С оглядкой на Советскую Россию почти повсюду в западных странах был введен 8-часовой рабочий день. Было расширено избирательное право. Оно распространялось на женщин, стало в ряде стран практически всеобщим или почти всеобщим. Рабочие партии увеличили свое представительство в парламентах, кое-где стали получать доступ к правительственной влас-

ти (лейбористы в Англии в 1924 и 1929 гг., социал-демократы в Германии в 1919-20 и в 1928 году, в Швеции — в 1924, в Дании — в 1924, 1929 гг.). Членство в профсоюзах, несмотря на преследования, выросло втрое по сравнению с довоенным периодом. Укрепилась их финансовая база. Повысилась эффективность массовых забастовочных действий. В ряде стран была узаконена практика коллективных договоров, легализованы фабрично-заводские комитеты.

После спада революционной волны, наступившей в начале 20-х гг., перед западной социал-демократией открылось более широкое поле для собственной реформаторской деятельности. Характерно, что в период между Первой и Второй мировыми войнами инициаторами социальных реформ были, главным образом, рабочие партии (в отличие от предшествующего периода). Расширился круг стран, которые ввели системы социального страхования, повысились его стандарты. Главное — теперь речь шла преимущественно об *обязательном* страховании. Более широким стал круг лиц, получивших право на страхование по возрасту, болезни или инвалидности, от несчастных случаев. Впервые стало вводиться страхование по безработице.

В 1935 году закон о социальном страховании был принят в США. Накануне Второй мировой войны большинство западных стран, где сохранялись парламентские режимы, имели системы страхования от несчастных случаев на производстве, 25 стран — какую-то форму пенсионного обеспечения, 20 — обязательное страхование по болезни и/или инвалидности и 8 (только восемь!) — весьма ограниченное страхование по безработице. Причем охват трудящихся системами социального страхования был очень неравномерным от страны к стране.

С позиции сегодняшнего дня результаты были весьма скромными, но для того времени это был прогресс, достигнутый, несомненно, с оглядкой на Советскую Россию.

По сравнению с довоенным периодом существенно выросли — в абсолютном и относительном выражении — государственные социальные расходы: на социальное обеспечение, здравоохранение, образование, жилищное строительство. Например, в Германии в 1930 году их доля в ВВП в 3 раза превышала довоенный уровень, в Англии — в 2,5 раза.

Государственные социальные расходы (в % к ВВП;
в скобках — в % к общегосударственным расходам)

	Англия	Германия	Швеция
1913	4,2	4,1 (30,5)	3,8 (36,1)
1920	7,1 (25,9)	10,2 (1925 г.)	4,8 (44,1)
1930	10,4 (42,3)	12,4 (51,0)	6,5 (46,2)

Тем самым закладывались предпосылки того, что позднее стали называть «welfare state». (Основы теории «государства всеобщего благосостояния» были заложены в книге известного британского экономиста Артура Пигу «Экономика благосостояния», вышедшей еще в 1920 году).

В 20-е годы развитие капитализма, испытавшего серьезные потрясения, вступило в новую фазу. Она характеризовалась значительным ростом государственного вмешательства в хозяйственную жизнь. К этому побуждали и структурные сдвиги в организации капиталистического хозяйства, и новые социально-политические условия.

В частности, возросла способность профсоюзов противиться прямому снижению заработной платы. Так, именно из этого исходил в своих теоретических построениях Дж.М. Кейнс: если заработная плата стала негибкой и все больше определяется экзогенными факторами, то попыткам прямого ее снижения следует предпочесть окольный путь, т.е. сдерживать рост реальной заработной платы посредством регулируемой инфляции.

Значение идей Кейнса, конечно, шире. Обосновывая необходимость государственного регулирования рыночной экономики, он исходил из сложившихся новых условий, из стремления предотвратить кризисы, подобные кризису начала 30-х годов. Еще в 1925 году он посетил СССР, перед его глазами был советский опыт планового управления экономикой. Идея планирования получила хождение в профсоюзах, в социал-демо-

кратическом движении, в кругах левой интеллигенции в Европе. С идеей планирования реформисты связывали возможность эволюционного продвижения к демократическому социализму.

Как уже сказано выше, международные последствия победы революции в России были неоднозначны. Страх перед большевизмом подпитывал распространение фашизма. Вражда между коммунистами и социал-демократами не позволила антифашистским силам остановить наступление фашизма в Германии.

Приход к власти нацистов в 1933 году и угроза новой мировой войны, исходившая от будущих участников «Антикоминтерновского пакта» (Германия, Италия, Япония), способствовали росту авторитета СССР в широких кругах западной общестственности, особенно среди интеллигенции. В Советском Союзе увидели силу, противостоящую нацизму и агрессии.

Известный писатель-фантаст Герберт Уэллс решил в 1934 г. посетить Америку и Россию, чтобы встретиться с Рузвельтом и со Сталиным и уговорить их объединить усилия по созданию «социалистического мирового государства» на основе того обещания, что, по мнению Уэллса, содержалось в Новом курсе Америки и в Новом плане (плане коммунистического строительства) России. Его ждало разочарование: Сталин его не понял.

Сталин не понял и другого известного деятеля того времени — Георгия Димитрова. Существует интересный документ: записка Димитрова Сталину, направленная в том же 1934-м году в связи с подготовкой VII конгресса Коминтерна. Аргументируя необходимость народного антифашистского фронта, Димитров в осторожной форме поставил вопрос о пересмотре отношения к западной социал-демократии, в том числе и, в особенности, к ее левому крылу. Сталин сделал издевательские ремарки на полях записки — он не принял эту идею. Примечательно, что VII конгресс Коминтерна даже не упоминается в сталинском Кратком курсе истории партии (1938 г.).

Пройдя через испытания Второй мировой войны и десятилетия идеологической конфронтации, руководство КПСС, правящих компартий Восточной Европы и лидеры западноевропейской социал-демократии стали нащупывать возможность контактов, диалога и сотрудничества — по крайней мере, в вопросах войны и мира.

С началом Перестройки эти контакты получили новый импульс. Результатом этого стало участие большой группы представителей партий Социнтерна в праздновании 70-летия Октябрьской революции в Москве в 1987 г. и в приуроченной к этой дате международной встрече. В выступлениях звучало признание исторического значения Октябрьской революции как события, оказавшего глубокое влияние на мировое развитие. Представители партий Социнтерна были, по-видимому, столь же искренни в этой оценке, как и в энтузиазме, с которым они приветствовали Перестройку в СССР, видя в ней подтверждение в конечном счете социал-демократического выбора. Если в этом можно видеть противоречие, то это противоречие самой жизни.

Русская революция и брошенный ею вызов капитализму, роль Советского Союза в победе над гитлеровской коалицией, распад колониальной системы, распространение социалистических идей, соперничество двух систем — все это в решающей мере определило облик XX столетия. Но на исходе XX века наш быстроменяющийся и более, чем когда-либо, разделенный мир уже стоял перед новыми, еще более сложными глобальными вызовами и угрозами. Это придало новую актуальность и новое измерение социал-демократическим принципам и ценностям — наиболее пригодным для поиска ответов на вызовы современной эпохи.

Условности, порождаемые системными революциями, формируют исторические руслу

А.С. Черняев,
к.и.н., Горбачев-Фонд

Все в мире условно. Без условностей, которые придумывали люди и общества для самосохранения и выживания, не было бы ни культуры, ни цивилизации. Без них не началась бы и не пошла человеческая история. Самая большая условность последних двух десятилетий — Французская и Российская революции. А до них — Английская.

Об этих революциях написаны тысячи книг. Их интерпретировали свои и чужие — «вкривь и вкось». А они продолжали действовать и влиять на нашу жизнь — больше исподволь, опосредованно, но иногда и прямо. Вычеркнуть из исторической памяти эти великие условности, которые породили тысячи и тысячи других общественных, культурных, даже бытовых условностей, — дело безнадежное, а главное — вредное.

Историк Юрий Афанасьев прав, когда заявляет, что все мы — из Октября. Прав он и в том, что мы так и не поняли его смысла и значения, хотя нас несет поток созданной им исторической инерции, на которую наложена инерция двух других — тоже системных — революций. Понимать, исследовать, докапываться до смысла — удел небольшой и специально образованной части общества. Но независимо от того, как, насколько, в каком объеме понят и объяснен смысл великих условностей, всем нам — и образованным, и непросвещенным, и обманутым, и неграмотным, и равнодушным, и даже не догадывающимся о смысле своего существования — никуда не деться от этих великих условностей, реально пребывая в этом мире, особенно в нашем — европеизированном.

Поэтому «смеху подобно» замолчать тот же Октябрь или подменить его другой условностью — например, известной только церковникам датой выноса иконы Казанской Богоматери и реанимированной Карамзиным два века спустя (в патристическом угаре после нашествия Наполеона) датой пленения у Сретенских ворот Дмитрием Пожарским горстки поляков, чуть не умерших от голода в Кремле. И унизительно для нации, если она хочет оставаться исторической, а не «антикварной».

Миф? Ну что ж. Все значительные (и даже не очень) события обрастают мифами. Это изначально присуще человеческому сознанию. Они возникают не на пустом месте и «по приказу» их не изобретешь. Они отражают объективно возникающую жизненную потребность — когда иначе пока невозможно объяснить что-то существенное и укрепиться в стремлении к какой-то общей цели. Поэтому долгое время служили прогрессу (хотя и реакции тоже).

Смысл истории, особенно ее поворотных моментов, ищут философы, историки и проч. интеллектуалы, на то их и выделяют из своей среды народы. Ищут всегда и по-разному, но

вряд ли когда-нибудь «обрящут» — во всяком случае, никогда не остановятся на чем-нибудь одном, не придут к согласию. А остальные, большинство — существуют в условиях этого «смысла», не понимая, не ведая и не зная, откуда они такие и почему. В этом, наверно, трагическая мудрость истории. Однако есть здесь и комедийная сторона — иррациональная и инфантильная. Невежество используется в политических целях. И всегда находятся идеологи — ученая братия, специалисты, готовые услужить: одни — из корысти и раболепия, другие — по глупости или неизбежной обычно профессиональной ограниченности. Они-то оформляют и раскрашивают новые условности, угодные режиму и властителю.

Эти изобретения — условности вторичного, третичного ряда. Они недолговечны и быстро стираются в потоке жизни. Тогда как условности, порождаемые системными революциями, формируют исторические русла на века, если не навсегда. К ним, безусловно, относится Октябрь 1917 года.

**Социологический комментарий:
поляризация общественного мнения
об Октябрьской революции возникла
на рубеже 80-х и 90-х годов XX века**

И.В. Задорин,

исследовательская группа «Циркон»

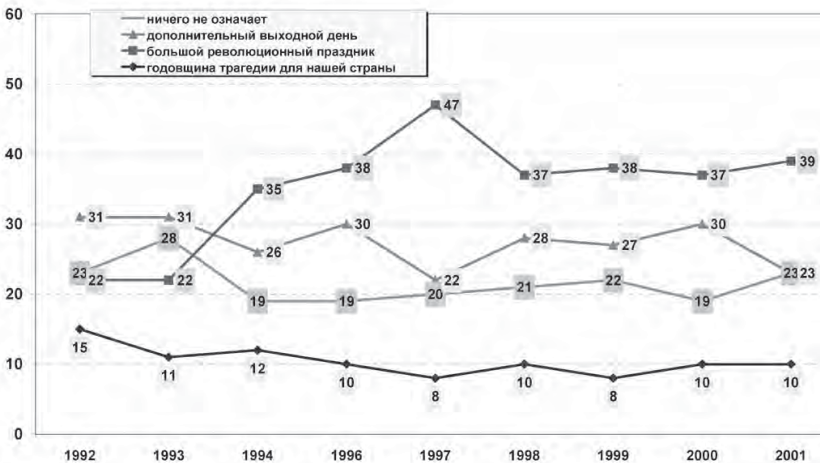
Как ни странно, не так легко найти более или менее серьезное и обстоятельное исследование общественного мнения, посвященное восприятию соотечественниками Октябрьской революции. Социологические центры задают, как правило, несколько довольно поверхностных вопросов. Поэтому, не претендуя на полноту объяснения, представлю несколько «динамических картинок» с результатами опросов об отношении российских граждан к центральному событию истории XX века.

Прежде всего, надо сказать, что Октябрьская революция по-прежнему является значимым событием для российских

граждан и «не уходит» полностью в далекую историю. Естественно, это связано и с тем, что до недавнего времени существовал такой общественный институт, как праздник 7 ноября. Этот праздник и соответствующее ему информационное поле воспроизводили определенные ассоциации, связанные с Октябрьской революцией.

Фонд «Общественное мнение», начиная с 1992 г., регулярно задавал своим респондентам такой вопрос: **«Что лично для Вас означает День 7 ноября?»**. В результатах опросов разных лет видна характерная динамика (см. рис. 1), которая свидетельствует, что действительно существующее размежевание отношения к Октябрьской революции, выраженное в том числе в отношении к соответствующему празднику, произошло довольно давно. Это не 90-е и 2000-е годы. Это — конец 80-х и самое начало 90-х годов. Уже к 1992 году доля тех респондентов, которые говорили, что 7 ноября — это «*годовщина трагедии для нашей страны*», и тех, которые говорили, что это «*большой революционный праздник*», были приблизительно равны: 15% и 22%. Довольно много (больше половины) было тех, которые говорили, что этот день либо ничего для них не означает, либо это «*просто дополнительный выходной день*», т.е. выражали свое неопределенное или безразличное отношение к празднику.

Рисунок 1. Что лично для Вас означает День 7 ноября?



90-летие Октябрьской революции

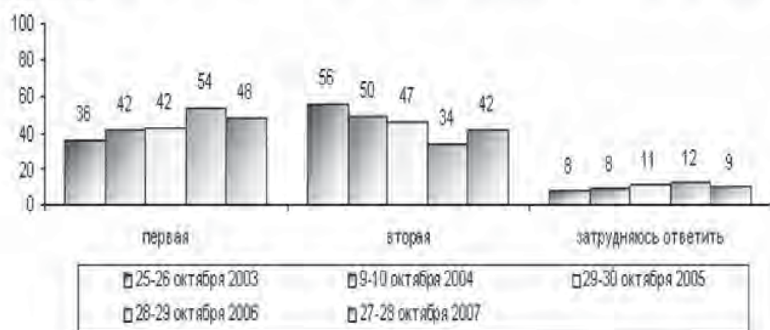
Таким образом, дифференциация (даже поляризация) общественного мнения, которая постоянно воспроизводится в отношении Октябрьской революции, появилась еще на рубеже 80-х и 90-х годов. А по мере формирования нового политического контекста почти в два раза выросла доля тех граждан, которые говорят, что 7 ноября для них — это «*большой революционный праздник*». Удивительным образом произошло не снижение доли таких респондентов, а, наоборот, ее повышение в 90-е годы. Причем в основном — за счет ранее безразличных и неопределившихся респондентов.

Конечно, это связано не только с переоценкой восприятия революции, а, скорее, с отношением к текущему политическому контексту, который в 90-е воспринимался очень негативно. И как оппозиция этому контексту росло позитивное отношение к празднованию 7 ноября.

В последнее время Фонд «Общественное мнение» регулярно задавал уже другой вопрос: «*7 ноября — это особый, важный и значимый день или это довольно обычный, ординарный день?*». В последние годы — с 2003 г. по 2007 г. — почти в полтора раза выросла доля тех, кто говорит, что это важный и значимый день (см. рис. 2).

Рисунок 2.

До недавнего времени в нашей стране праздничной датой было 7 ноября. Для одних день 7 ноября - особый день, важный, значимый. Для других 7 ноября не является особенным, важным, значимым днем. Если говорить о Вас лично, какая позиция Вам ближе - первая или вторая?



Таким образом, можно сделать первый вывод: существует довольно значительная дифференциация общественного

мнения в отношении к Октябрьской революции, эта дифференциация сложилась еще в конце 80-х, а в дальнейшем только воспроизводится. Причем в количественном отношении в последние годы она фактически не меняется: приблизительно равные доли противников и сторонников с некоторым преобладанием позитивного отношения — соотношение довольно устойчиво, несмотря на серьезно меняющийся политический контекст. В некотором смысле это удивительно.

Что касается *понимания* гражданами сути Октябрьской революции, то данные ВЦИОМовских опросов 2005 и 2007 годов (задавался вопрос «**Что, как Вам кажется, было главной причиной Октябрьской революции, что привело к ней?**») демонстрируют набор известных стереотипов. Они формировались еще в советские времена и сохранились до сих пор. Безусловно, самым распространенным и устойчивым стереотипом является то, что главной причиной Октябрьской революции до сих пор считается «тяжелое положение народа» — так отвечают около половины всех опрошенных (см. рис. 3).

Рисунок 3.



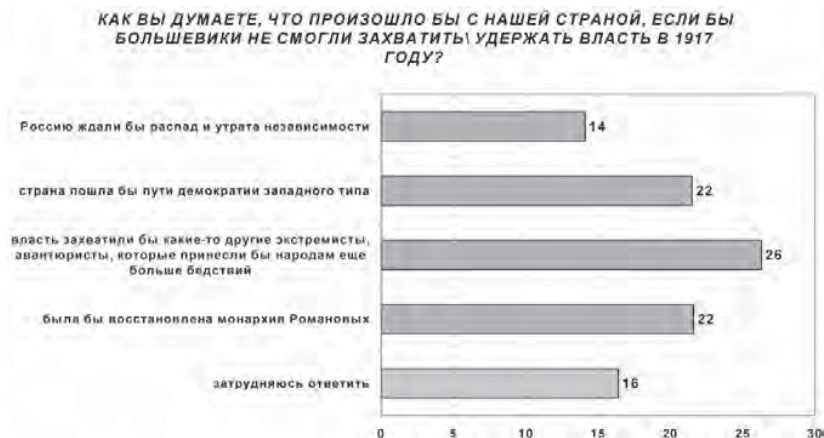
Вместе с тем в головах наших сограждан присутствуют уже и новые «гипотезы», например, что причиной революции

явился «экстремизм политических авантюристов», хотя доля таких ответов и невелика — только семь процентов. Альтернативу «слабость правительственной власти» выбирают уже около 20 процентов, вариант «стихийная агрессия толпы» — 4–5 процентов. «Теория заговора» традиционно набирает порядка 4–5 процентов. В совокупности альтернативные «народной» причине революции варианты почти настолько же распространены — их поддерживают более трети респондентов.

Заметим также, что за два года (2005–2007) все-таки несколько снизилась доля тех, кто говорит, что причиной революции явилось «тяжелое положение народа», и в два раза выросла доля затруднившихся ответить. Это сигнал, на который я хотел бы обратить внимание коллег-социологов, тем более что он повторяется и в ответах на другие вопросы.

«Как вы думаете, что произошло бы с нашей страной, если бы большевики не смогли удержать власть в 17-м году?» Этот вопрос задавал еще левадовский ВЦИОМ в 2002 г. Заметим, что ожидаемый позитивный вариант («страна пошла бы по демократии западного пути») набирает не так много голосов — 22%. Все альтернативы оказываются приблизительно, равновероятными. Это означает, что в массовом сознании не существует никакого доминирующего мнения о возможных альтернативах Октябрьской революции. (см. рис. 4)

Рисунок 4.



Важным элементом любого мифа, любой идеологии являются, конечно, герои мифа и люди, персонифицирующие идеологию. В нашем случае хотелось бы привести картинку, отражающую сегодняшнее отношение к героям Октябрьской революции. «**Кто из следующих деятелей времен революции вызывает у вас наибольшую симпатию?**» — такой вопрос задавался два раза с пятилетним лагом (в 2002 г. и в 2007 г.)

Мы видим (см. рис. 5), что лидерами по популярности среди тех героев, которые вызывают симпатию, по-прежнему являются лидеры большевиков: Ленин, Дзержинский, Сталин, кто-то называет и Троцкого и Бухарина. Лидеры противоположного лагеря, причем из самых разных его сегментов — Николай II, Колчак, Керенский, Милюков, т.е. те, кто назывался «врагами революции», набирают существенно меньше голосов.

Рисунок 5.



За последние пять лет лидеры большевиков потеряли в симпатиях порядка 7–10 процентов и в два раза (с 19 до 37 процентов) выросла доля затруднившихся ответить. Рост зоны неопределенного отношения к героям Октябрьской революции, а значит, и к ней самой (эту зону, в основном, сейчас формирует молодежь) — очень важная тенденция последних

лет. Несмотря на довольно устойчивое соотношение различных стереотипов восприятия революции, все-таки «серая зона» неопределенного отношения расширяется.

Разнообразие различных точек зрения демонстрирует и активно обсуждаемая тема: являлся ли Ленин «немецким шпионом» или не являлся, брал деньги у немцев или нет. С одной стороны, мы видим, что прежние стереотипы восприятия сохраняются (см. рис. 6). 40 процентов, т.е. большая часть населения, согласно последним данным компании «Башкирова и партнеры», считает, что тезис о финансировании деятельности большевиков немцами — это «клевета на Ленина, придуманная его политическими врагами». С другой стороны, уже почти треть респондентов соглашались с версией о финансовом влиянии на революцию из-за рубежа. Правда, из тех, кто полагает, что Ленин брал деньги у немцев, большинство считает, что действовал он все равно, в общем-то, в пользу революции.

Рисунок 6.

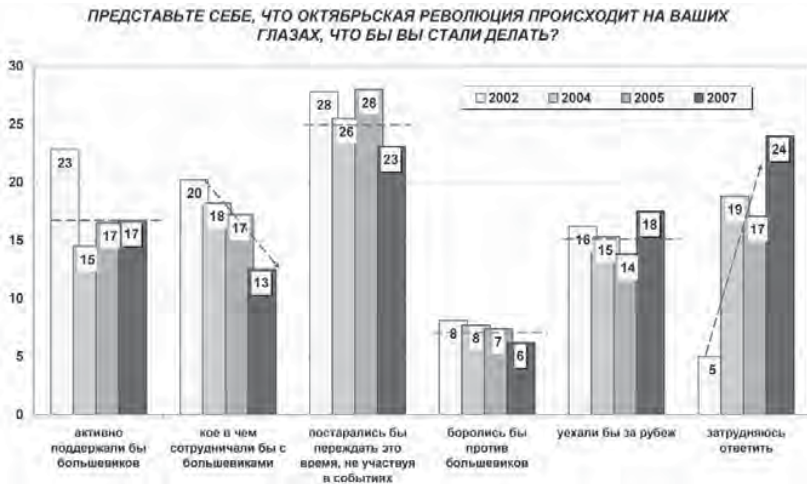
В последнее время многие историки и публицисты пишут о внешнем влиянии на русскую революцию и, в частности, о финансировании деятельности большевиков немцами. А что думаете по этому поводу Вы?



В заключение — мониторинговые данные опросов «Левада-Центра». Вопрос: «Представьте себе, что Октябрьская революция происходит на ваших глазах. Что бы вы стали делать?». Мы видим, что, задавая этот вопрос, исследователи

как бы пытаются перевести стереотипы восприятия в поведенческие стереотипы. Получается довольно любопытная картинка (см. рис. 7).

Рисунок 7.



Безусловно, по-прежнему сохраняется преобладание тех, кто поддержал бы большевиков — либо «активно», либо «кое в чем» сотрудничал бы с революционерами, хотя доля таких ответов со временем все-таки уменьшается. Мы замечаем, что с 2002 г. доля такого рода ответов упала примерно на 15 процентов. Такие «естественные» альтернативы, как *постарались бы переждать* или *уехал бы за рубеж*, также набирают довольно устойчивую долю респондентов. Вместе с тем резко — почти на 20 процентов — выросла доля затруднившихся ответить — тех респондентов, которые уже не представляют себе, как они повели бы себя в данных обстоятельствах. Заметим, что наши граждане все-таки довольно активно позиционируют себя в том времени. По большому счету, можно было бы ожидать, что на такой вопрос половина респондентов затруднилась бы ответить, но люди, напротив, как-то определяются в том далеком уже историческом времени.

Наконец, об итоговой оценке Октябрьской революции, выраженной в восприятии ее позитивных или негативных по-

следствий для судеб народов России. Вопрос так и задавался: **«Что принесла Октябрьская революция народам России?»**

Мы видим (см. рис. 8), что доля тех, кто оценивает последствия революции позитивно, — тех, кто считает, что она «открыла новую эру в истории народов», что она «дала толчок к социально-экономическому развитию страны», — до сих пор превышает долю негативных ответов: больше половины респондентов в той или иной степени солидаризируется с этими точками зрения. Варианты ответов «революция затормозила развитие» или «революция стала катастрофой» набирают существенно меньше — порядка четверти голосов. Вместе с тем, по результатам этого вопроса опять наблюдается рост числа затруднившихся ответить.

Рисунок 8.



Таким образом, подводя итог, можно сказать, что, во-первых, в нынешнем общественном мнении об Октябрьской революции существуют довольно устойчивые стереотипы, сформировавшиеся еще в советское время. Эти стереотипы воспроизводятся сегодня, несмотря на все изменения политического контекста последних двадцати лет и обилие новой разнообразной информации о революционных временах.

Во-вторых, налицо серьезная дифференциация общественного мнения и отсутствие доминирующего восприятия, хотя, в целом, позитивное отношение к Октябрьской революции до сих пор преобладает. Причем в этом вопросе нет ожидаемой заметной динамики, связанной, например, с уходом людей из старших поколений. Можно предположить, что разные стереотипы восприятия революции воспроизводятся и в среде молодежи. Однако нынешнее информационное поле способствует тому, чтобы в умах молодых людей присутствовало *разнообразие мнений* об Октябрьской революции, а не только воспроизводились позитивные и негативные стереотипы.

В-третьих, рост доли россиян, не имеющих определенно-го мнения о важнейшем для страны событии XX века, — весьма значимая тенденция в общественном сознании (и молодежь в наибольшей степени пополняет число «затруднившихся ответить» на вопросы об Октябрьской революции). Обычно такая тенденция предвещает серьезное перераспределение разных точек зрения с возможным формированием новых доминирующих стереотипов, которые будут устойчиво воспроизводиться в массовом сознании новых поколений. Несомненно одно: Октябрьская революция и сегодня остается актуальным полем общественных дискуссий и активной идеологической борьбы.

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Доклады

Демократическое движение в современной России: истоки, состояние, причины

А.Б. Рябов,

*главный редактор журнала «Мировая экономика
и международные отношения», эксперт Горбачев-Фонда*

От быстрого подъема к кризису

Необходимым условием для понимания перспектив демократического движения в современной России является ретроспективный анализ факторов и причин, вызывавших поначалу его небывалый подъем в конце 80-х — начале 90-х гг., а затем и столь же стремительный упадок в период второго президентства В. Путина. Дело в том, что многие из этих факторов продолжают оказывать существенное влияние на российскую политику в настоящее время и, скорее всего, сохранят его в ближайшей перспективе. Поэтому ретроспективный анализ, как минимум, позволит уточнить границы возможного для демократического развития страны.

Демократическая альтернатива как политический проект сформировалась в условиях глубокого кризиса коммунистической системы в конце 80-х гг. XX столетия. Политические и социально-экономические реформы М. Горбачева, столкнувшись с нарастанием кризисных явлений, вызванных давно на-

капливавшимися и не решавшимися в недрах прежнего общественного строя проблемами, привели политически активную и прореформаторски настроенную часть общества к убеждению, что советская система неспособна к изменившимся мировым реалиям. Отсюда и возникла идея радикального слома прежней парадигмы развития в соответствии с универсальными мировыми трендами в направлении создания в стране общества, основанного на принципах плюралистической демократии и открытой рыночной экономики.

Еще на начальном этапе реформ 80-х гг. демократия как общественный идеал, пока лишь частично инкорпорированный в проект Перестройки, в условиях усиливавшегося кризиса прежней общественной системы стала выступать привлекательной альтернативой, завоевывавшей все большее количество симпатизантов в массовых слоях населения. На завершающем этапе Перестройки, когда кризис достиг апогея, альтернативный демократический проект стал окончательно доминировать сначала в советской, а затем и в российской политике, что и предопределило относительно безболезненную ликвидацию коммунистического общественного строя (август-декабрь 1991 г.). Привлекательность его в тот период предопределялась сочетанием нескольких факторов.

Во-первых, политика информационной открытости, проводившаяся М. Горбачевым, позволила быстро разрушить одну из главных основ легитимности коммунистической системы, а именно миф о ее большей эффективности в социальной сфере, о способности более надежно защищать права «простого человека». Столкновение миллионов советских людей с информацией о реальной жизни на Западе, которая стала активно подаваться отечественными СМИ, в решающей мере побудило его отвернуться от коммунистической системы и связать свои надежды на будущее с реализацией демократического проекта сначала в СССР, а затем и в России.

Во-вторых, в немалой степени популяризации демократического проекта способствовали и общемировые тенденции того времени: новая волна демократизации, затронувшая многие страны, быстрый крах коммунизма в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) и столь же стремительный упадок коммунистических партий в государствах Западной

Европы, динамичное и поступательное развитие Запада во главе с США. Симптоматично, что своеобразным идеологическим *specter* того времени явилась обошедшая весь мир статья американского политолога Ф. Фукуямы «Конец истории?», в которой он делал вывод о том, что отныне все страны мира обречены двигаться по универсальному пути развития, финальной точкой которого будет повсеместное создание обществ и политических систем либерально-демократического образца.

В-третьих, успеху демократического транзита в рассматриваемый период содействовала и мощная демократическая традиция, созданная представителями передовой общественной мысли и культуры во времена хрущевской «оттепели». В центре их внимания находились проблемы соблюдения человеческого достоинства, социальной справедливости, свободы человеческого выбора. И хотя подавляющее большинство так называемых «шестидесятников» в годы хрущевской «оттепели» предпочитало оставаться в рамках коммунистической парадигмы и не ставила вопроса о смене общественного порядка, высказываемые идеи, достаточно глубоко проникшие в сознание наиболее активных слоев советского общества, в значительной мере обеспечили готовность к глубоким переменам конца 80-х — начала 90-х гг.

В-четвертых, поскольку политические и социально-экономические изменения того периода приобрели революционный характер, они, что характерно для любой революции, сопровождались сильными «выбросами» утопического общественного сознания. В силу названных выше причин оказавшаяся в роли новой, «свежей» для миллионов советских людей идея демократии на какой-то период заняла место утопии, превратившейся в мощную политическую силу.

Вместе с тем уже тогда, в начале 90-х, стали очевидными слабые черты политических акторов, отождествлявших себя с демократическим проектом.

Во-первых, в России, как, впрочем, и в большинстве постсоветских стран, не произошла «революция ценностей», в отличие от государств ЦВЕ. Иными словами, демократия на массовом уровне изначально воспринималась лишь в узкоинструментальном смысле как способ более эффективного решения задачи повышения материального благосостояния большин-

ства населения, чем коммунистическая система. Она в отличие от бывших собратьев по коммунистическому лагерю не стала в России системой ценностей, не зависящей от превратностей социально-экономической конъюнктуры. Поэтому когда позднее страна столкнулась с серьезными проблемами и трудностями перехода к рынку, привлекательность демократической идеи на массовом уровне стала быстро угасать.

Во-вторых, изначально цель перемен для большинства населения оставалась неясной. Если граждане стран ЦВЕ уже вскоре после антикоммунистических революций 1989 г. на основе достижения общенационального консенсуса определили цель перемен как возвращение в европейскую цивилизацию через интеграцию в ее ключевые институты — Евросоюз и НАТО, то для большинства россиян смысл посткоммунистических изменений и по сей день выглядит неопределенным.

В-третьих, очень важно, что к началу 90-х гг. в России не сложилось влиятельное гражданское общество. В позднесоветский период в бывшем СССР в общем и целом сформировалось общество потребления, которое захотело жить «как на Западе». И поначалу это был мощный ресурс реформаторов в поддержке проводимой ими политики рыночных и демократических реформ. Однако под влиянием экономических трудностей, необходимости адаптации к новым условиям жизни общество потребления, не скрепленное связями гражданской солидарности, стало стремительно атомизироваться. В таком дисперсном состоянии оно никак не могло претендовать на роль игрока, готового отстаивать демократический проект.

В-четвертых, развитие начала 90-х гг. воспроизвело слабость, наметившуюся в российской прогрессистской традиции еще в середине XIX в., а именно расхождение либерализма и демократии в ходе исторического развития. Носителями либеральной парадигмы, центральное место в которой занимала идея свободы выбора, были, как правило, представители высших и образованных слоев населения. Но в условиях глубокого культурного раскола, сформировавшегося в стране в эпоху Петра Великого, их устремления оставались чуждыми и непонятными основной массе населения. Напротив, идея демократии, воспринимавшаяся в России традиционно сквозь призму руссоистского понятия «общее благо» и поня-

тия «справедливость», легко подхватывалась теми политическими группами, которые делали ставку на развертывание массового революционного движения снизу, направленного против власти. В результате в обществе либералы зачастую не воспринимались как демократы (представители партии конституционалистов-демократов — кадетов), а «демократы» нередко проявляли откровенную враждебность либеральным ценностям (большевики). Это противоречие, имевшее глубокие корни в российской истории, воспроизвелось и в начале 90-х гг. прошлого столетия. И хотя образованные слои в это время составляли в общем составе населения несравненно большую долю, чем в прошлые периоды российской истории, все равно их либерально-западнические устремления оказались чуждыми взглядам основной массы населения, понимавшей демократию как достижение подлинной социальной справедливости.

В силу отмеченных причин демократическое движение в посткоммунистической России за исключением короткого периода начала 90-х гг., когда романтические иллюзии о возможности скорого достижения западных стандартов жизни оказывали решающее воздействие на состояние общественного мнения, так и не смогло стать главной движущей силой рыночных перемен. Основная масса населения, столкнувшись с трудностями перехода к рынку и не обладая прочной системой демократических ценностей, быстро охладела к демократическим партиям и движениям, которые оказались перед необходимостью действовать в условиях ограниченных ресурсов. Подобная ситуация вызвала к жизни два основных подхода, две различные стратегии действий, которые проводились в жизнь партиями Союз Правых Сил и «Яблоко», игравшими главную роль в демократической части политического спектра страны в 90-е гг. и в течение первого срока президентства В. Путина. Первая из них, которая прочно ассоциировалась с деятельностью СПС, исходила из того, что в стране, где нет объективных условий для массовой поддержки перехода к рыночно-демократическому строю, главная задача демократов должна состоять в том, чтобы, овладев важными позициями в исполнительной власти, прежде всего, в ее экономическом блоке, попытаться осуществить переход к рынку сверху, опи-

раясь исключительно на силу государства и индивидуальную инициативу наиболее активной части населения. При этом, имея в виду вероятность консервативного сопротивления реформам на массовом уровне, допускалось проведение авторитарной политики ради достижения поставленных целей. Считалось, что создание развитой рыночной инфраструктуры неизбежно повлечет за собой и формирование демократических институтов. Вторая стратегия, представленная партией «Яблоко», исходила из убеждения, что в стране, где гражданское общество слабо, реальная власть и контроль над ресурсами принадлежат быстро обуржуазивающейся государственной бюрократии, необходимо сначала шаг за шагом создать социальную базу поддержки демократических и рыночных реформ, сделать их понятными населению. В соответствии с таким видением определялась и иная политическая философия реформ. На первый план выходило не скорейшее достижение каких-то целей, а утверждение процесса реформ как последовательности жестко выполняемых демократических процедур.

Оба подхода в силу их объективной ограниченности имели очевидные слабости. Так, стратегия СПС в сфере публичной политики прочно ассоциировалась с элитизмом, с презрением к настроениям и интересам общественного большинства. В последующем, в годы второго президентского срока В. Путина, это качество было умело обыграно противниками демократического развития в кремлевских структурах, обвинивших реформаторов 90-х в ненависти к собственному народу, в навязывании чуждой ему политической культуры и традиций. Ставка на использование административного аппарата в реформаторских целях оправдалась лишь частично. Правящая постсоветская бюрократия быстро научилась использовать энергию и профессионализм демократических реформаторов только в тех пределах и сферах, которые были выгодны ей самой, для решения задач, являвшихся важными для нее. Поэтому, когда новым постсоветским элитам присутствие реформаторов во власти по разным причинам становилось невыгодным, их быстро оттуда изгоняли. Теряя массовую поддержку, реформаторы СПС постепенно превращались в зависимую от государства социальную корпорацию специа-

листов-менеджеров по управлению реформами. «Яблоко», напротив, проводя жесткую разграничительную линию между собой и правящей номенклатурой и проповедуя лозунг «других реформ», на практике всячески стремилось избегать участия в исполнительной власти, опасаясь быть «замазанным» в сотрудничестве с нею. В результате за партией постепенно стала складываться репутация резонеров-критиканов, не способных к практической работе. Те же наиболее яркие представители «Яблока», которые все-таки решались на работу в исполнительной власти, постепенно порывали с партией.

Начиная с 2000 г. в стране в негативную для демократического движения сторону стала меняться и общая политическая ситуация. Одной из главных целей первого президентства В. Путина стала консолидация разных групп и слоев элиты на основе совместной защиты возникшего в результате перемен 90-х гг. общественного строя, присущих ему общественных и властных отношений, которые сформировались к тому моменту. Президент предложил и новые правила игры для элит, соответствовавшие новым задачам. Они были сформулированы президентом В. Путиным на встрече с ведущими предпринимателями страны («олигархами») в мае 2000 г. Суть его предложений состояла в том, что в обмен на преференции в продолжении и развитии бизнеса предпринимателям предлагалось отказаться от попыток вмешательства в процесс принятия политических решений. Эти новые правила игры были приняты предпринимательским классом. Те же, кто не хотел согласиться с ними, под давлением властей оказались вынуждены покинуть пределы страны в обстановке позитивной в целом реакции крупнейшего бизнеса («олигархи» Борис Березовский и Владимир Гусинский). В 2000–2002 гг. была проведена федеративная реформа, важнейшим политическим результатом которой стала утрата региональными элитами роли самостоятельного игрока в федеральной политике. Губернаторы и спикеры местных парламентов лишились права заседать в верхней палате парламента, власть губернаторов и президентов национальных республик в составе Российской Федерации была урезана с помощью нового института Полномочных представителей президента в Федеральных округах и их аппаратов. Политическое ослабление двух пользовавшихся

наибольшей самостоятельностью главных групп постсоветских элит — крупнейшего бизнеса и регионалов — сделало возможность перевести задачу консолидации правящего класса в институциональные рамки создания новой правящей партии «Единая Россия», которое было завершено в конце 2002 г. Данный проект с самого начала, несмотря на очевидные издержки, строился как внутренне плюралистичный. Эффективно это вело к заметному снижению привлекательности СПС у крупных бизнесменов и чиновников-технократов. Отныне для того, чтобы обозначать свою приверженность делу рыночных реформ, уже не требовалось некое противопоставление правительственным консерваторам. Новые взаимоотношения внутри элиты уже не предполагали проведения открытых публичных дискуссий. К тому же новая власть в лице президента и его команды четко обозначила свое намерение продвигаться вперед по пути дальнейших рыночных реформ. В 2000–2002 гг. были приняты Земельный, Налоговый и Трудовой кодексы. В этих условиях интерес бизнеса к СПС как партии, наиболее последовательно и эффективно отстаивающей цели рыночных реформ, стал постепенно падать. В равной мере сказанное относится и к более широким слоям «успешных людей», традиционно рассматривавших Союз Правых Сил как политическую организацию, наиболее близкую к их интересам, и составлявших ядро социальной базы этой партии. Поэтому не случайным было существенное падение количества избирателей, готовых проголосовать за Союз Правых Сил. На думских выборах 2003 г. СПС получил всего 4,0% голосов и не попал в парламент.

Процессы сжатия социальной базы в рассматриваемый период наблюдались и в «Яблоке». Представители топ-групп населения утратили интерес к продвигавшимся партией идеям демократизации. Что же касается массовой базы поддержки, то здесь произошли определенные подвижки в сторону наиболее зависимых слоев населения, преимущественно бюджетников. Однако возможности расширения электоральной базы в этом направлении изначально были ограничены. Среди бюджетников все активнее распространялись популистские и патерналистские настроения. И в этом контексте «Яблоку», стоящему на платформе социального либерализма, было яв-

но не под силу соперничать за избирателя в борьбе с национал-популистским блоком «Родина» и Компартией, традиционно собиравшей значительную часть голосов за счет бюджетников. «Яблоко» также не смогло преодолеть 5% барьер на выборах в Госдуму 2003 г., получив лишь 4,3%.

К 2003 г. в российской политике произошло еще одно важное изменение, существенно снизившее возможности демократических партий. Опираясь на договоренности с крупнейшим бизнесом мая 2000 г., государство постепенно лишило его возможности свободного выбора в финансировании политических партий. В этих условиях пожертвования в принудительном порядке направлялись в первую очередь на «Единую Россию». Возможности финансирования демократических партий существенно сократились.

В условиях свертывания демократии в стране

2003 г. во многом стал переломным для текущей российской политики. Значимым событием, в решающей степени определившим дальнейшее развитие политического процесса, стал арест в октябре 2003 г. главы крупнейшей частной компании страны ЮКОС Михаила Ходорковского и последовавшее за этим инициированное властями банкротство нефтяного гиганта. Для судеб демократического движения принципиальными были следующие последствия этих событий.

Во-первых, доминирующие позиции внутри правящего слоя захватили различные группы «силовиков», постепенно запустивших процесс тотального передела собственности в стране, который подорвал институт частной собственности, придав ему откровенно условный характер.

Во-вторых, опасаясь реакции недовольных кругов элит, правящая команда инициировала процесс свертывания демократических начал политического строя, видя в этом гарантию упрочения своего нахождения у власти. В 2004 г. были отменены прямые выборы губернаторов, широкое распространение получило применение административного ресурса на выборах разных уровней. Подконтрольные администрациям суды стали снимать с выборов под надуманными предлогами негодных кандидатов и даже партийные списки, не особо обра-

щая внимания на высокий уровень их популярности. Так, в 2006 г. власти Санкт-Петербурга и Карелии через подконтрольные им суды сняли с выборов избирательные списки «Яблока», хотя в обоих случаях партия имела хорошие шансы получить представительство в местных парламентах.

В-третьих, начав кампанию против ЮКОСа, власти успешно подали ее для массового сознания как борьбу со всем слоем «олигархов» 90-х гг., «разворовавших страну». Население, всегда негативно относившееся к «олигархам», позитивно восприняло новую массовую кампанию. Идеи и призывы властей получили горячий отклик во многом потому, что в массовом сознании россиян демократия в рамках понимания, имевшего длительную традицию, воспринималась как общее благо, а не как совокупность институтов и процедур. Заявив, что средства, изъятые у ЮКОСа, пойдут на «общее благо», власти обеспечили массовую поддержку своим действиям, несмотря на то, что процесс изъятия характеризовался нарушением законов. Важно также, что борьба с ЮКОСом, переросшая затем в массивное давление на оппозиционные силы, по времени совпала с заметным улучшением социально-экономического положения в стране, обусловленным нефтяным и газовым бумом. Это привело к росту доходов значительной части населения, получившей возможность сравнивать промежуточные итоги правления путинской администрации с тяжелыми 90-ми гг., когда решающую роль в политике играли «олигархи». В массовом сознании возник так называемый посттравматический синдром. Начавшийся рост благосостояния в начале 2000-х гг. привел к резкому взлету негативистских настроений по отношению к прежним ориентирам, выдвинутым в 90-е гг. За унижения и трудности 90-х гг. большая часть населения решила заплатить неприятием основных приоритетов того времени. Это отношение было распространено на такие столпы политики 90-х гг., как демократические институты, либеральные ценности, прозападный курс развития страны. Демократические партии не играли решающей роли в выработке и осуществлении социально-экономической политики 90-х гг. и, стало быть, не могли нести основной ответственности за ее противоречивые результаты. Но они, несомненно, были одними из инициаторов реформ, и в массо-

вом сознании их деятельность прочно ассоциировалась с непопулярными преобразованиями. Поэтому государственной пропагандистской машине не составило особого труда представить эти партии как агентов «олигархов», которым те обязаны своими не честно нажитыми состояниями. Одновременно на партии демократического толка была возложена ответственность за такие проблемы 90-х гг., как массовое обнищание населения, рост преступности, бесправие.

Суммируя влияние этих факторов на судьбы демократического движения, необходимо отметить следующее. В результате процессов, проходивших в общественном мнении, эффективно использованных в манипулятивных целях государственной пропагандистской машиной, демократические партии утратили большую часть своей массовой базы. Сужение сферы действия демократических процедур, особенно на выборах, существенно снизило их возможности для плодотворной работы с избирателями. В этой связи партии потеряли и свою инвестиционную привлекательность для бизнеса. Падение интереса предпринимательского класса к развитию демократического движения было обусловлено и тем, что в условиях консолидации элиты в годы первого президентского срока В. Путина, лоббирование интересов стало осуществляться в основном через партию «Единую Россию», прочно захватившую контроль над всеми легислатурами в стране. В то же время нараставшее недовольство бизнеса усилением жесткого давления со стороны силовиков в период второго президентства В. Путина теоретически оставляло пространство для формирования нового запроса на возрождение демократического движения.

Следует отметить, что и сами демократические партии, сформировавшиеся в условиях плюрализма 90-х гг., когда политика после кровавого конфликта между президентом и Верховным Советом в 1993 г., проводилась в основном мягкими методами, исключавшими возможность административных репрессий, оказались неготовыми к работе в новых условиях. Они по-прежнему сосредоточивали основное внимание на доступе к электронным СМИ, но не уделили должных усилий по созданию прочных организационных структур на местах. В их рядах оказалось много функционеров, хорошо подготовленных к ра-

боте законодателей и телевизионных экспертов, но не было достаточного количества специалистов, способных вести кропотливую работу в области партстроительства на местах. Не сумев сохранить ресурс массовой поддержки, эти партии оказались втянутыми в закулисный политический торг с кремлевскими структурами, в котором неизменно проигрывали. Чиновники из президентской администрации каждый раз привлекали демократические партии для решения своих конъюнктурных задач, но решив их, неизменно срывали взятые на себя обязательства. Безуспешной оказалась и попытка СПС осуществить коренную смену социальной базы и опереться вместо потерянных «успешных людей» на популистски настроенных маргиналов. СПС не стал для этих слоев «своей партией», но в то же время еще более отделился от традиционных симпатизантов.

В силу приведенных обстоятельств в период между парламентскими выборами 2003 и 2007 гг. наблюдался не только упадок наиболее влиятельных демократических партий — СПС и «Яблока». Неудачными оказались как проекты создания новых демократических партий (наиболее крупным из них была попытка строительства обновленной Республиканской партии, предпринятая известным политиком Владимиром Рыжковым), так и не прекращавшиеся усилия по объединению под одной институциональной рамкой всех демократических сил.

Вместе с тем провалились и попытки власти в рамках проекта строительства абсолютно управляемой из Кремля многопартийной системы создать вместо слабеющих традиционных демократических партий новые партийные институции. После выборов 2003 г. была предпринята безуспешная попытка раскрутить проект «Новые правые». В ходе избирательной кампании 2007 г. кремлевские структуры поддержали проект партии «Гражданская сила» и реанимировали давно забытую Демократическую партию. Причины этих неудач очевидны. Демократические партии, даже находясь в состоянии прогрессирующего упадка, все-таки опираются на потенциал той части общества, где более всего сильны традиции самостоятельного гражданского поведения. Это существенно снижает возможности властей для создания в этой части политического спектра искусственных организаций-симулякров, хотя подобные проекты могут оказаться весьма успешными в

других политических сегментах (национал-патриотическом, центристском, где традиции гражданских инициатив сильны и государство обладает несравнимо большими манипулятивными возможностями).

Таким образом, к концу рассматриваемого периода в отношении перспектив демократического движения сложилась парадоксальная ситуация. Демократическое движение находится в состоянии глубокого упадка. Демократическая часть политического спектра на уровне большой политики, по существу, пустует. Нет и массового запроса на ее возрождение. Но одновременно есть довольно значительный шанс, что подобный запрос может сформироваться на верху, прежде всего, в кругах крупного бизнеса, не довольного линией путинской администрации на создание государственно-бюрократического капитализма при ключевой роли силовых структур в политике и бизнесе.

Президент Д. Медведев: новые опции для демократического движения?

Избрание Д. Медведева, представителя умеренного крыла команды В. Путина, 3-м президентом Российской Федерации, создало новую ситуацию в российской политике. С точки зрения перспектив демократизации и возможностей для дальнейшего продвижения страны по демократическому пути развития, повестка дня изменилась. Суть этих изменений может быть отражена в двух больших вопросах.

Во-первых, возможна ли при президентстве Д. Медведева новая демократизация (либерализация) сверху без активного участия демократических сил, либеральных политических партий, НПО и других сегментов гражданского общества? И если таковой вариант возможен, то каковы могут быть его объективные пределы?

Во-вторых, как должны позиционировать себя демократические силы по отношению к президентству Д. Медведева?

Говоря о перспективах демократизации сверху, прежде всего, следует исходить из того, что никакого запроса на масштабные и глубокие изменения демократического характера ни в верхах, ни в более широких общественных слоях не суще-

ствует. Избрание Д. Медведева как «умеренного прогрессиста» не было ответом на соответствующие общественные ожидания, а явилось результатом сложных интриг в кремлевской политике. И тем не менее, некоторые возможности для ограниченной демократизации и либерализации в период президентства Д. Медведева все же могут возникнуть. В первую очередь это связано с тем, что слишком жесткая политико-экономическая система, возникшая в годы второго президентства В. Путина, стала создавать определенные проблемы для части элит. Экспансия верхушки «силовиков» в крупный бизнес существенно подорвала права частной собственности, способствовала тому, что этот важнейший институт во все большей степени начал приобретать условный характер. Право же собственности стало требовать подтверждения «служением» владельца государству. Все это усилило заинтересованность, в первую очередь, большей части крупного бизнеса в создании надежных правовых инструментов, защищающих права собственности. В условиях России, где никогда не удавалось реализовать на практике концепцию «просвещенного авторитаризма», подобные гарантии могут быть созданы лишь при нормально действующей системе разделения властей, конкурирующих и не находящихся под контролем государства СМИ, и при не зависимом от исполнительной власти правосудии, то есть при осуществлении хотя бы частичной либерализации политической системы. Иными словами, часть крупного частного бизнеса объективно заинтересована пусть даже в ограниченной верхушечной демократизации. Примечательно, что конфронтационная внешняя политика В. Путина последних лет стала создавать проблемы крупному российскому бизнесу и в его отношениях с партнерами на Западе, о чем некоторые предприниматели стали заявлять публично (В.Вексельберг). Осложнения, связанные с такой политикой, становятся дополнительным стимулом для крупного бизнеса в поддержку идеи демократизации. Важно также, что Д. Медведев еще в ходе президентской предвыборной кампании неоднократно поднимал тему борьбы с «правовым нигилизмом». В политических кругах это было воспринято как свидетельство того, что новый президент понимает значимость актуализации проблематики правового государства в практической полити-

ке и посылает заинтересованным общественным группам соответствующий сигнал. В годы правления В. Путина существенно сузились каналы вертикальной мобильности, в том числе и для многих групп государственной бюрократии, включая и часть «силовой». Поэтому идея ограниченной либерализации может быть поддержана ими как лозунг, объективно позволяющий надеяться на расширение конкурентных возможностей и появление доступа к новым постам и административным ресурсам. Наконец, часть «старокремлевских» элит, достигших пика влияния в годы президентства Б. Ельцина, но затем отстраненных от власти и лишенных возможности участвовать в перераспределении собственности, также восприняла бы верхушечную демократизацию, видя в ней возможность возвращения на ключевые позиции в политике и бизнесе.

Иными словами, существуют объективные условия для складывания вокруг нового президента умеренно-прогрессивной коалиции. Разумеется, она может быть только гетерогенной. При этом все ее участники будут ставить во главу угла не долгосрочную стратегию национального развития, а групповые интересы, ограниченные как по характеру, так и по целям. Возможность возникновения такой коалиции будет зависеть от наличия нескольких факторов.

Так, нужна готовность и желание самого Д. Медведева стать независимым лидером, заинтересованным в осуществлении политических и социально-экономических изменений в стране. Дело в том, что по Конституции РФ президент наделен огромными полномочиями. Но при желании, как в любой президентско-парламентской системе (в формально-правовом плане Россия может быть отнесена именно к такой системе; в части, касающейся механизма разделения властей в российской Конституции взята за основу Конституция V Республики во Франции) глава государства может поделиться с премьер-министром частью своих полномочий. В свою очередь заинтересованные в ограниченной демократизации элитные группы, понимая, что эта политика может быть осуществлена, только если новый президент сосредоточит в своих руках реальную власть и не будет ограничен влиянием сторонников *status quo*, консолидирующихся вокруг премьера В. Путина, станут оказывать давление на Д. Медведева, стремясь убедить его в

том, что как национальный лидер он способен состояться лишь в том случае, если с самого начала проявит самостоятельность и настойчивость, с помощью которых только и реально добиться концентрации властных полномочий.

Дуалистичная модель исполнительной власти, предложенная В. Путиным для нового президентства в декабре 2007 г., таким образом, способна создать благоприятную институциональную среду для консолидации сторонников и противников демократизации. Сам факт наличия конкуренции между центрами власти будет стимулировать их активизацию и, возможно, обращение их за публичной поддержкой. Конкуренция между президентом и премьером неизбежно будет усиливаться и из-за непримиримости бизнес-интересов соперничающих групп элиты, которые наверняка для более эффективно продвижения своих проектов предпочтут поддержку какого-то одного центра власти.

Наконец, нарастание приближающихся социально-экономических и финансово-экономических трудностей системного характера объективно может поставить властную элиту перед необходимостью внесения изменений в проводимый ею курс. Это дает неплохой шанс для поворота в сторону либерализации и демократизации. Но в то же время следует признать, что одновременно кризис прежней политики может быть использован и консервативными силами в верхах для еще большего ужесточения курса. В конечном итоге выбор пути развития в решающей степени будет зависеть от сочетания нескольких факторов: от степени и характера давления на власть снизу (например, привыкшие в последние годы к распределительной политике широкие общественные слои вполне могут потребовать усиления административного контроля правительства над экономикой), от реакции международного сообщества, от баланса сил в верхах, решительности тех или иных групп и политиков, представляющих российскую элиту.

Резюмируя аргументы по первому вопросу, все же можно признать, что определенное окно для ограниченной демократизации при новом президенте существует.

Что же касается позиции демократических сил по отношению к новому главе государства и перспективам его президентства, то здесь сформировалось несколько подходов. Пер-

вый, который можно условно назвать «активистским», исходит из целесообразности с самого начала поддержать Д. Медведева, поскольку в настоящее время только с ним связано небольшое окно возможностей для продолжения рыночных и демократических реформ. Наиболее ярким представителем этого течения является А. Чубайс. Второй подход, который можно охарактеризовать как «выжидательный», основывается на том, что не следует верить на слово осторожным реформаторским обещаниям Д. Медведева. Нужно посмотреть, какой на практике будет его политика, и если она действительно окажется реформаторской, поддержать нового президента. Эту позицию разделяет значительная часть медийного истеблишмента. К ней близки Г. Явлинский и М. Касьянов. Третий подход сводится к жесткому неприятию нового лидера как одного из представителей путинской команды, наравне с другими ее членами несущего ответственность за политику прежнего президента. Таких взглядов придерживаются лидеры радикальной несистемной оппозиции (Г. Каспаров), а также В. Рыжков и Б. Немцов. Промежуточной является позиция, которую занял один из лидеров правозащитного движения Л. Пономарев. С его точки зрения, демократам нужно попытаться инициировать конфликт с репрессивным аппаратом (например, обнародование данных об избиениях ОМОНОм заключенных в российских тюрьмах вызвала резкую реакцию «тюремного ведомства» — ФСИН) и посмотреть, как на это станет реагировать Д. Медведев.

Расхождения, возникшие в стане демократов, делают еще менее реалистичными попытки объединения демократических сил, которые возобновились после провала либеральных партий на декабрьских 2007 г. выборах в Государственную Думу. Очевидно, что в ситуации, когда часть демократических политиков по первому приглашению из Кремля готова пойти на сотрудничество с новым президентом, а другие склонны взять паузу для выяснения его реальных планов, создать сколько-нибудь представительную коалицию, объединенную, на самом деле, единственной целью — выживания, не удастся.

Впрочем, и без объединения старым демократическим партиям, выросшим в специфических условиях 90-х гг. и возглавляемым лидерами, сформировавшимися в ту пору, без

глубокой внутренней перестройки в обозримой перспективе не удастся вернуть широкую общественную поддержку. Дело в том, что по сравнению с 90-ми гг. качественно изменилась политическая среда, в которой развивалось демократическое движение. И речь не только о том, что в начале XXI в. ему пришлось столкнуться с возрастающим прессингом со стороны государства и его репрессивного аппарата, с большим количеством новых ограничителей, которых не существовало в предшествующее десятилетие. Иными стали как сама российская политика, так и потенциальные функционеры и сторонники демократических партий. В 90-е гг., когда новая посткоммунистическая элита еще не была консолидирована, а Госдума обладала значительным законотворческим ресурсом, демократические партии в межвыборный период делали основной акцент на работе с электронными медиа. К таким ориентирам в определенной мере побуждала их и слабость партийного актива в провинции. Дело в том, что после антикоммунистической революции 1991 г. наиболее успешные активисты демократического движения на местах занялись бизнесом, сделали карьеру в органах государственной власти, в СМИ, продвинулись по социальной лестнице как представители свободных и творческих профессий. В роли местных партийных функционеров остались неудачники, часто не способные к изменению социальной реальности и потому зависимые от финансовых поступлений из Москвы. В этих условиях партийные лидеры видели свою задачу в первую очередь в том, чтобы, используя ресурс телевизионной узнаваемости, после посещения того или иного региона и публичных выступлений в нем добиться численного роста организации. При этом региональные функционеры выступали как зависимые от центра группы, призванные лишь выполнять решения вождей.

В годы президентства В. Путина политическая среда для партийной деятельности заметно изменилась. Для демократов полностью закрылись возможности «телевизионной политики». А низовой актив, состоявший в основном из функционеров 90-х гг., ничего не смог противопоставить административному давлению местных властей. В итоге активность большинства низовых организаций была фактически свернута. Лишенные серьезной базы поддержки на местах, демократичес-

кие партии оказались очень уязвимыми в центре, где на них оказывался систематический прессинг со стороны президентских структур.

Между тем в провинции к этому времени сформировались социальные группы, заинтересованные в развитии демократического движения. Это социально активные представители новых средних слоев — средние и мелкие предприниматели, менеджеры высшего и среднего звена, известные журналисты, преподаватели вузов и академические работники, частно практикующие юристы и врачи. Эти группы, в отличие от функционеров 90-х гг., оказались весьма успешными в новых условиях. Но их, тем не менее, явно не устраивал новый общественный порядок. Но верхушка демократических партий их интересовала уже не в роли вождя, которому можно доверить голоса и поддержку, но который в московских коридорах власти будет действовать абсолютно автономно, а в качестве партнера, с которым эти слои могла бы связывать система взаимных обязательств. Однако партийные верхи демократических партий оказались не готовы к такой смене политического запроса. Демократические лидеры, сформировавшиеся в эпоху «телевизионной политики», относились с пренебрежением к рутинной работе на местах и по-прежнему рассчитывали на то, что доступ к национальным телеканалам позволит им быстро восстановить социальную базу. В итоге актив традиционных демократических партий и групп оказался в своеобразном тупике. Не будучи готовым и не желая менять технологию работы с обществом, он ищет выходы из кризиса на пути создания новых партийных проектов, очередных объединительных инициатив и т.п. Однако активизация в этих направлениях лишь подчеркивает бесплодность подобных попыток. Более того, их безрезультатность ведет к дальнейшему снижению авторитета демократического движения и его лидеров в обществе, к продолжающемуся сокращению его поддержки.

Однако и попытки властей воспользоваться прогрессирующей слабостью демократических сил и навязать обществу созданный сверху «симулякр» новой партии демократического толка в этой ситуации также бесперспективны. Демократический электорат настроен по отношению к нынешней российской власти в целом оппозиционно и потому по определе-

нию не доверяет подобранным Кремлем политикам. Те же избиратели, кто разделяет либеральные и демократические ценности, но, оставаясь в рамках парадигмы российского политического сознания, полагают, что реализовывать их на практике должны политики, имеющие доступ к реальным рычагам власти, не будут поддерживать партии, не имеющие своих представителей во властных институтах. В этом контексте попытка кремлевских структур использовать президентскую избирательную кампанию 2008 г. для «раскрутки» лидера существующей лишь на бумаге Демократической партии А. Богданова как возможного нового лидера демдвижения, как прежние эксперименты подобного рода, снова оказалась безрезультатной.

Иными словами, с точки зрения дальнейших перспектив демократического движения возникла в определенном смысле тупиковая ситуация. У властных элит есть необходимые финансовые, организационные и информационные ресурсы для продвижения проекта строительства квазидемократических партий, но нет никакой массовой поддержки для этого. У демократических партий имеются остатки былой поддержки, но нет ни идей, ни ресурсов, с помощью которых эту поддержку можно было бы мобилизовать и расширить.

Общественное мнение о перспективах демократии и демократов в России

В значительной степени та сложная ситуация, в которой оказалась демократия и демократы в нынешней России, обусловлена специфическим состоянием общества, находящегося на стадии постреволюционной стабилизации. Общество в целом удовлетворено складывающимися общественными реалиями. По данным специально проведенного исследования Левада-Центра в январе 2008 г., 65,2% опрошенных полагают, что дела в стране идут в правильном направлении. Лишь в группе респондентов с самыми низкими доходами («не хватает даже на продукты») количество полагающих, что дела в стране идут в верном направлении, и тех, кто думает, что они идут в неправильном направлении, оказалось примерно равным (46% против 44%). При этом в основном именно «оптими-

сты» склонны считать, что нынешнее состояние страны — это и есть движение к демократии. Так, 54% респондентов сказали, что политическая система современной России развивается в сторону демократии. Для сравнения, радикально иных взглядов на развитие политической системы придерживаются 32,9% опрошенных. Из них 16,3% считают, что страна движется в сторону анархии и диктатуры, 8,1% — к возрождению прежних советских порядков. 8,5% полагают, что в стране нарастают хаос и анархия. При таких представлениях вполне логичной выглядит ситуация, когда среди действующих политиков в общественном мнении в наибольшей степени с понятием «демократ» ассоциируются прежде всего руководители страны — В. Путин (47,2%) и Д. Медведев (23,1%). Лидеры же демократических партий существенно уступают им. Так, Г. Явлинский ассоциируется с понятием «демократ» всего лишь у 8,5% опрошенных, Б. Немцов — у 7%, Н. Белых — у 3,2%, М. Касьянов — у 3%, Г. Каспаров — 2,6%.

В этом контексте понятно, что и результаты думских выборов декабря 2007 г. в восприятии российских граждан выглядят абсолютно закономерными. Раз дела в стране идут в правильном направлении, а В. Путин как ее лидер возглавлял список «партии власти» — «Единая Россия», то и подсчет голосов воспринимается как честный у 54% опрошенных (столько же респондентов назвали и нынешнюю политическую систему демократической!). Сфальсифицированным его считали только 21,8%, еще 24,2% затруднились с ответом.

Подавляющая часть россиян убеждена в том, что стране нужна демократия (77,6%). Причем эта идея относительно разделяется во всех возрастных и социально-профессиональных группах. Те, кто считает, что демократия России не нужна, находятся в абсолютном меньшинстве (13,7%). Примечательно, однако, что среди «противников» демократии больше всего руководителей (21,6%). Отчасти это отражает специфику отношений внутри фирм, неверие руководителей многих компаний в то, что российские сотрудники готовы работать в условиях «либерального» стиля руководства. Но, с точки зрения большой политики, подобное отношение дает немалые основания предположить, что именно в позициях этой «топ-груп-

пы» кроются основания авторитарных тенденций в действиях российских властей.

Поддерживая демократию как ориентир развития, россияне в то же время по большей части считают, что их стране нужна собственная, соответствующая их традициям и национальной специфике модель демократии (51,4%). Для сравнения: сторонниками универсальной («такой, как в странах Европы, Америки») модели демократии выступают лишь 28,7%, «советской» — 7,9%.

Приведенные данные дают основания полагать, что под демократией россияне имеют в виду какой-то качественно иной набор представлений, чем, например, граждане западных стран. На самом деле, и на вербальном уровне восприятие россиянами демократии отличается внутренней противоречивостью, отражающей переходный характер российского массового сознания.

С одной стороны, в общественном мнении россиян довольно прочно укоренились многие из традиционных демократических ценностей. Так, при ответе на вопрос, что же такое, по Вашему мнению, «демократия», больше всего респондентов — 46,3% — ответили, что это свобода слова, печати, вероисповедания; 34,4% — фактическое равенство граждан перед законом; 25,6% — строгая законность. Интересно отметить, что рейтинг такого важного критерия демократии, как фактическое равенство граждан перед законом, существенно выше в группе наиболее обеспеченных слоев населения («можем приобретать недвижимость»). Здесь так считают 56,3% респондентов. Это означает, что запрос на создание правового государства, которое многие сегодня рассматривают как ключевой момент в противодействии авторитарным тенденциям, исходит прежде всего, от верхов среднего класса и богатых слоев населения, уже приобретших экономическую независимость и теперь стремящихся к установлению стабильных правил игры.

На вербальном уровне абсолютное большинство россиян позиционирует себя в качестве сторонников основных демократических свобод. Так, в общем и целом 73,9% граждан согласны с мнением, что главы исполнительной власти в регионах и муниципальных образований должны избираться прямым и тайным голосованием, в то время как не согласны с

этой позицией только 20,7%. С мнением, что люди, не согласные с действиями властей, должны иметь право гласно и открыто выражать свою позицию на митингах и демонстрациях, солидарны 73,8% опрошенных, против — 19,6%. Соответственно, лишь 23,7% россиян разделяют точку зрения, что власти имеют право запрещать митинги и демонстрации, если их не устраивают лозунги и речи собравшихся. В то время как 66,3% с ней не согласны.

При этом российское общество в целом демонстрирует способность к весьма объективным оценкам уровня развития демократии в конкретных областях общественной жизни. Так, только 37,1% опрошенных согласны с тем, что современные российские СМИ свободны от цензуры. Но 53,7% не согласны с этим. В отношении прошедших 2 декабря 2007 г. выборов в Государственную Думу, вызвавших немало критики со стороны российских и международных наблюдателей, почти половина опрошенных (42,6%) согласилась с мнением, что участвовавшие в них партии находились в неравных условиях: одним предоставлялись преимущества, а другие незаконно преследовались. Правда, примерно столько же россиян полагают, что все партии находились в равных условиях (40,3%).

Но в то же время, демонстрируя определенный уровень освоения универсальных демократических ценностей, массовое сознание по-прежнему фиксирует склонность к традиционной для России интерпретации демократии как «общего блага». В частности, 46,9% участников того же опроса отметили, что демократия — это, прежде всего, экономическое благосостояние граждан, 41% — стабильность и порядок. Под такое понимание демократии вполне могут поместиться и авторитарные режимы, если они проводят политику роста доходов. При этом процедурные элементы демократии, как и в былые эпохи, не являются для россиян объектом особой привлекательности. В частности, только для 15,1% респондентов демократия ассоциируется с прямыми выборами всех государственных руководителей и лишь для 4,9% — гарантия прав меньшинств.

В такой ситуации, когда значительная часть россиян склонна отождествлять нынешние общественные реалии с демократией или, как минимум, с условиями, обеспечивающими продвижение общества по пути демократизации, не удиви-

тельно, что, по мнению большинства опрошенных, именно с действующей властью связываются перспективы продолжения демократических реформ (43,5%). Но при этом в наименьшей степени связывают свои надежды на демократизацию с действующей властью как раз наиболее обеспеченные слои населения (25%). И это дает основания предполагать, что запрос на демократические изменения придет, скорее всего, из экономически состоятельных групп, в первую очередь крупного бизнеса и верхов «среднего класса».

«Старым» демократическим партиям общество не доверяет. Из участников опроса за «Яблоко» голосовали 2,3% респондентов, за СПС — 1,9%. Для сравнения: за «Единую Россию» проголосовали 60,6% опрошенных. Поэтому не случайно, что перспективы осуществления реформ со «старыми» демократическими партиями связывают лишь 5,7% опрошенных. Недоверие к этим партиям в значительной степени может быть объяснено не только их неудачами в политике последних лет, но и тем, что за их спиной, по мнению респондентов, стоят силы, вызывающие резко негативную реакцию общественного мнения. В частности, 37,1% опрошенных считают, что оппозиционные силы в России (общественное мнение знает, что демократические партии относятся именно к этой части партийного спектра) сейчас финансируют «олигархи», 16,5% — правительственные органы других государств и зарубежные спецслужбы. Кстати, 16,0% респондентов относят «олигархов» к «внутренним врагам России». В то же время полагают, что оппозиционные силы зарабатывают себе на жизнь собственным трудом только 9,8% опрошенных. При этом, отвечая на вопрос, а кто конкретно из «олигархов» в настоящее время финансирует демократические партии, больше всего опрошенных называют как раз те фигуры, которые вызывают наиболее негативную реакцию в общественном мнении, — Р. Абрамович (24,2%) и А. Чубайс (17,7%).

В определенной степени негативно влияет на отношение к нынешним демократическим силам и общая обстановка подозрительности, поиска врагов и ксенофобии, сложившаяся сейчас в стране. В частности, 64,1% в той или иной степени согласны, что у России в настоящее время есть внутренние враги, не согласны с этим только 22,1%. Среди этих врагов рес-

понденты чаще всего называют террористов (74,4%), «кавказцев» (31,3%), членов запрещенной Национал-Большевистской Партии («лимоновцев», 19,0%) и уже упоминавшихся «олигархов» (16,0%). Тот факт, что рейтинг нынешних демократов (СПС и «Яблоко») в списке врагов низок (5,1% и 3,1% соответственно), позволяет говорить о нескольких аспектах влияния этой ситуации на перспективы демократического движения. С одной стороны, безусловно, это препятствует развитию активности демократов, продвижению в общество их идей, поскольку демократические силы традиционно выступали в России против любых проявлений ксенофобии, расизма, подозрительности и шпиономании. Но, с другой, в целом общественное мнение не относит демократов к числу внутренних врагов страны. И признание этого факта наряду с тем, что авторитет «старых» демократических партий низок (они неудачники, за ними стоят нелюбимые народом «олигархи» и западные правительственные круги), дает основание предполагать, что для становления демократов «новой волны» условия могут быть не безнадежными. Не случайно, по-видимому, довольно значимая часть населения (23,9%) полагает, что реформы должны осуществлять «новые» демократические партии.

Хотя в целом общественное мнение полагает, что движение к демократии будет осуществлять действующая власть, в вопросе, касающемся роли и стратегии собственно демократических сил в проведении реформ, ситуация выглядит иной, несколько сдвинутой в пользу оппозиционных настроений. Так, относительное большинство, по сравнению с представителями других взглядов, составляют сторонники сотрудничества с властью. 31,3% опрошенных считают, что демократическим силам нужно поддерживать политиков, придерживающихся либеральных и демократических установок, которые уже находятся у власти. Не трудно заметить, что эта позиция очень близка к подходам, которые на протяжении долгих лет исповедовало руководство СПС. Однако в целом потенциал сторонников самостоятельных действий демократов (помимо «либерально-прогрессистски» настроенных групп властной элиты), причем в русле оппозиционных стратегий, в конечном счете оказывается выше. Так, идею создания новой демократической партии с новыми лидерами поддерживают 21,1%.

Учитывая, что ни один из проектов создания подобной партии сверху при активном участии кремлевских структур не имел успеха, можно предположить, что граждане, придерживающиеся этой позиции, имеют в виду, прежде всего, оппозиционную партию. В этом конкретном контексте, касающемся собственно демократов, значительное число сторонников находится и у «старой» демократической оппозиции. В частности, 16,4% респондентов полагают, что демократические силы для продолжения реформ должны опереться на имеющиеся демократические партии в их нынешнем состоянии и с нынешними лидерами. Еще 5,1% считают, что для этого нужно объединить «старые» демократические партии. А 7,7% думают, что для продвижения реформ надо создать широкую оппозиционную коалицию, включающую и КПРФ. Таким образом, с оппозиционной стратегией демократических сил твердо связывают свои ожидания 29,2% россиян. Этот процент на самом деле больше, поскольку, как уже отмечалось выше, есть все основания полагать, что «оппозиционеры» доминируют среди тех, кто выступает за создание новой демократической партии с новыми лидерами.

Несмотря на широко распространенную нелюбовь к «олигархам», россияне в целом считают крупный бизнес естественным союзником демократов. Эту точку зрения в целом разделяют 56,6%. Причем это не только предприниматели и руководители (что вполне естественно), но и представители социально зависимых групп населения (70,8% неквалифицированных рабочих, 60,8% безработных). Не согласны с этой позицией только 21,3% россиян.

Приведенные оценки, в целом позитивные для перспективы демократического движения, логично корреспондируются с умеренно-позитивным отношением опрошенных и к президентским выборам. Подавляющее большинство участников опроса заявило о намерении принять участие в этих выборах (84,9%), не собирались этого делать лишь 8,4%. А идею бойкота выборов со стороны демократических сил в общей сложности поддержали лишь 10,1%, в то время как не согласились с ней 70,5%. В целом более половины респондентов отнеслись к идее выдвижения единого демократического кандидата на выборы 2 марта (52,2%), против было 24,3%, затрудни-

лись с ответом 23,5%. При этом наиболее высокий уровень поддержки идеи единого демократического кандидата был среди наиболее обеспеченных слоев населения (62,5%). Это еще одно подтверждение, хотя, может быть, лишь косвенное, того, что именно экономически независимые группы являются наиболее последовательными сторонниками демократизации, причем выступая за ее «низовой», «гражданский» вариант, а не новую «революцию сверху».

Таким образом, несмотря на доминирующие в общественном мнении тенденции, влияние национал-патриотических и государственнических настроений, общество, тем не менее, в целом позитивно относится к сохранению присутствия демократов в политической жизни страны.

Что же касается демократических ценностей, то они, как и в 90-е гг., по-прежнему не являются для большинства граждан мотивациями их социального поведения. Так, в общем и целом готовы отстаивать любым законным образом идеалы демократии 36,7% россиян, но не готовы к этому 52,6%. Причем среди «твердо» готовых отстаивать идеалы демократии больше всего людей с высокими доходами (25%). Общая же доля «твердых борцов» за демократию в общем количестве опрошенных составляет лишь 11,7%. Это еще один аргумент в пользу предположения о том, что социальным ядром и «локомотивом» процессов демократизации, скорее всего, станут социально обеспеченные и экономически независимые группы населения. Финансировать партии и политиков, отстаивающие идеи демократии, готово еще меньшее число россиян — всего 8,9%, а не готово 81,9%. Иными словами, общество, позитивно относясь к демократии, не готово к активной борьбе за ее утверждение, не готово жертвовать ради нее ничем.

В обстановке сохраняющихся напряженных отношений с Западом, когда транслируемое сверху негативное отношение к США и их союзникам находит поддержку у значительного числа россиян, логичной выглядит и неготовность российского общества в целях отстаивания демократических ценностей обращаться к зарубежному общественному мнению. Так, были готовы поддержать такое обращение 15,6%, а не готовы — 74,5%.

Российская интеллигенция перед вызовами времени. Времена перемен и время застоя

Э.А. Паин

д. полит. н., профессор ГУ — ВШЭ

Сравнивая нынешние времена в России с событиями 20-летней давности в СССР периода Перестройки или с событиями 40-летней давности в Чехословакии, можно прийти к выводу о принципиальных отличиях этих времен. События 1968 и 1988 годов отражают времена перемен, тогда как нынешние — время застоя. Его можно определить **как историческую ситуацию, при которой правящая элита не хочет, а оппозиционная интеллигенция не может и не знает, как жить по-новому**. В эпоху застоя у власти и у оппозиции в ходу один и тот же миф о фатальной предопределенности судьбы страны и ее совершенно «особом пути».

Либералы с гневом отвергают идею «особой цивилизации» как «тысячелетнего величия России», но охотно принимают тот же миф в другой упаковке — как цивилизацию «тысячелетнего рабства».

Обе группы, претендуя на отражение интересов народа, его сильно побаиваются: «Дай народу волю, так он изберет либо коммунистов, либо жириновцев, а может, и фашистов». Поэтому «верхи» ищут спасения в стратегии «управляемой демократии», а у части либералов пользуется популярностью идея о целесообразности введения цензовой демократии — чтобы выбирали только образованные и состоятельные граждане.

«Особенности». Это наиболее повторяемое сегодня словечко. Вот только не понятно по отношению к каким странам и в чем же проявляются российские особенности, поскольку сравнительные исследования крайне редки.

Идеологически противостоящие группы в равной степени не знают и, к сожалению, не хотят знать реальные тенденции динамики народной культуры, повторяя как заклинание прищуренными глазами: «Такая у народа ментальность». Такому знанию сильно

мешает то, что популярные термины «культурный код», «цивилизационная матрица», «национальные архетипы» так и остались метафорами, поэтическими образами, используемыми без объяснения механизма их действия. В таких условиях роль интеллигенции я вижу, прежде всего, в демифологизации общественного сознания, в противопоставлении мифам рационального знания. На мой взгляд, механизм устойчивости или изменения культурных традиций может быть понят исходя из законов инерции.

Инерция традиций

Со школьной скамьи известно: тело (объект, явление) сохраняет состояние покоя или прямолинейного движения, если не встречает сопротивления (трения) или нового внешнего импульса. Этот принцип хорошо объясняет механизм культурной динамики. Долше всего, веками и даже тысячелетиями, могут сохраняться самоназвания народов — они не встречают сопротивления и не мешают адаптации людей к историческим переменам. Долго могут удерживаться обычаи, исходный смысл которых забыт, и поэтому они превратились только в ритуал. У каких-то народов принято при приветствии пожимать друг другу руки, у других — хлопать по рукам, а у третьих — прижимать их к груди. И кому это мешает? Устойчивы и другие ритуалы, например свадебные и похоронные. Из инерционных традиций сравнительно устойчивы пищевые. Однако и они подвержены изменениям под влиянием новых технологий (газовых и электрических плит вместо костра) и пищевой индустрии.

Чем больше традиция наталкивается на сопротивление изменяющегося мира, тем меньше она сохраняется. Так урбанизация расправилась с национальной одеждой, оставив ей место только в ритуалах. Она же вытеснила национальное жилище в сферу декора, сделав нормой в городах всего мира унифицированные дома, приспособленные к централизованному теплу и водоснабжению, канализации и к растущей стоимости земли в городах.

Традиции могут существовать веками, а вытесняться за считанные годы. Например, традиция сiestы (проявление ак-

тивности по утрам и после захода солнца при длительных дневных перерывах на отдых) была такой же визитной карточкой для испанцев, как, например, порядок для немцев. Ссылаясь именно на эту традицию, многие великие европейцы утверждали, что Европа кончается за Пиренеями: «Не может называться европейцами народ, который спит днем, а бодрствует ночью». Но вот пришла индустриализация и вытеснила сие-сту из трудовой сферы. Она сохранилась лишь в сфере досуга. Массовые гуляния глубокой ночью на площадях испанских городов лишь подчеркивают национальный колорит и привлекают туристов, не препятствуя ни экономическому развитию Испании, ни ее интеграции в ЕС.

Традиции не всегда стираются под воздействием изменяющейся среды, они могут и усиливаться, если речь идет об агрессии в отношении символов национальной и этнической идентичности. Но сопротивляются не сами ментальные традиции, а социальные институты, которые их защищают. Вот институциональная среда действительно может создать сопротивление переменам, но об этом я еще скажу.

А как же архетипы сознания, которые якобы определяют такие ценности, как патернализм и ориентацию на сильную руку? Это вымысел! Доказательств, что архетипы могут влиять на выбор политического устройства или социальных отношений, не существует. Зато есть множество свидетельств быстрой и радикальной трансформации ценностей патернализма.

Менее чем за полвека произошла радикальная перестройка всей структуры массового сознания немцев. Еще в 1930-е годы в Германии господствовал патернализм и тотальное преобладание ценностей «Мы» над ценностями «Я». По выражению Ульриха Бека, народ жил по принципу «Ты ничто, государство все!». Сегодня же Германия является оплотом европейского либерализма, с его опорой на личность, включенную в добровольные ассоциации²⁰. Тогда же германское общество было самым милитаризованным по характеру массового сознания, а ныне превратилось в одно из самых миролюбивых.

²⁰ Бек У. Безработный капитализм // Der Spiegel. 1966. N 29. S. 140–146 [<http://www.academy.-go.ru/Site/CrObsh/Publicatins/Beck2.shtml>].

Подчас перемены не замечаются, поскольку предстают в образе традиций. Японские социологи отмечают, что нынешний коллективизм в их обществе противоположен традиционному — принудительному, во многом стадному. Это новый, осознанный и избирательный коллективизм «солидарного индивидуализма»²¹. Такой же коллективизм преобладает во всех странах «открытого общества», будь они восточные или западные.

Другой пример — Россия. Сотни раз слышал, как явление «штурмовщины» — неритмичной работы предприятий по сезонам — связывают с особенностями российских условий, с традиционной сезонной активностью сельских жителей — бурной летом и затухающей в период длинной зимы. Но мы уже более полувека живем в урбанизированной стране, поэтому штурмовщина не имеет ничего общего с сельским образом жизни. Она отражает фундаментальную особенность социалистического хозяйства как экономики хронического дефицита, порождающего «недозавозы» и «недопоставки» большую часть года, и неотвратимую, как рок, необходимость «освоить фонды» к его концу. Именно поэтому такая «традиция» в советское время проявлялась в равной мере в регионах с разным климатом — в Эстонии и Туркмении, в ГДР и Монголии.

Материалы «Европейского социального исследования», проведенного в 24 странах (2004–2005 годы), показывают, что множество стереотипов поведения и сознания, приписываемых национальному характеру или многовековой жизни в особых цивилизационных условиях (ландшафтно-географических, языковых, религиозных), на самом деле сформировались за исторически короткий коммунистический период. Так, жители посткоммунистических стран: Венгрии, Польши, Словакии, Словении, Украины, Чехии и Эстонии, принадлежащие к разным этническим и религиозным группам, живущие в разных природных условиях, демонстрируют больше сходства, чем различий. Например, они отстают от других стран Европы как по реальному участию их жителей в общественных организациях и гражданских движениях (в 2,5–6 раз в зависимости от

²¹ См.: Куценко О. Классы в перспективе дилеммы «универсализм — индивидуализм» //Украинское общество в европейском контексте / Под ред. Е. Головахи, С. Макеева. Киев: Институт социологии НАНУ, 2007. С. 134–135.

типа организаций), так и по ценности для них таких объединений²². Реальная комфортность и безопасность жизни в посткоммунистических странах ниже, и по принятому отношению к ценности человеческой жизни эти же страны отстают от других обследованных. Там, где люди привыкают к небезопасной, не гарантированной законом жизни, сама она обесценивается вне зависимости от того, живешь ли ты на юге или на севере. По доле лиц, которые сталкивались с принуждением к взятке, все перечисленные посткоммунистические страны вошли в десятку лидеров. Стоит ли удивляться тому, что и по готовности дать взятку эти же страны впереди всей Европы²³.

Любопытно, что по этой готовности лидируют не славяне, а эстонцы, в то время как их близкие этнические родственники финны замыкают таблицу. Вывод: многовековое этническое родство и длительное пребывание обеих этнических групп в Российской империи оказали меньшее влияние на особенности их актуального поведения и сознания, чем несколько десятилетий жизни эстонцев в составе СССР.

«Мы» и «они»

Мы такие, как мы живем. Почему сатира Салтыкова-Щедрина воспринимается как наблюдения нашего современника? Да потому, что сохранились фундаментальные черты российских условий жизни. Как торговала Россия сырьем при Петре I, так и торгует, только вместо леса и пеньки продает нефть и газ. Как сажали государи воевод и губернаторов «на кормление», так и сажают. Вот и воспроизводятся нравы города Глухова. Откуда возникает патернализм? От отчужденности. В одной из республик Северного Кавказа слышал я такое объяснение результатов последних выборов: «Голоса не кровь — нам их не жалко, за кого начальство скажет, за того и проголосуем». Но стоило в той же республике задеть реальные интересы людей при разделе земли, как этому же начальству немедленно был дан массовый отпор. Чем больше человек от-

²² Куценко О. Указ. соч. С. 135.

²³ Злобина Е. Особенности нормативной регуляции украинского социума // Украинское общество в европейском контексте / Под ред. Е. Головахи, С. Макеева. Киев: Институт социологии НАНУ, 2007. С. 220.

чужден от той или иной сферы жизни, тем больше склонен к патернализму. По отношению к чуждой Думе — пусть начальник решает, а за свою землю или пенсию сами постоим.

То, что приемлемо в одни времена, может стать нетерпимым в иные. Абсолютизм при Петре был нормой для Европы, а в XIX веке стал анахронизмом. И это было воспринято просвещенной частью российского общества как исторический вызов. Заметили этот вызов и власти, но ответили на него не изменениями режима, а репрессиями и выдвиганием охранительных идей предков нынешней доктрины «особой цивилизации». В XIX веке от идеи народного суверенитета защищала особая, «официальная народность», так же, как ныне от идеи народовластия защищает особая, «суверенная демократия». Поразительно, как сочетаются в головах правящих особ два взаимоисключающих убеждения: о предопределенности пути страны и, одновременно, о возможности сбить ее с праведного пути любым дуновением «чуждых влияний».

Как в XIX веке не было в России общества, способного воздействовать на власть, так нет его и сейчас. Именно такое общество, складывающееся в границах страны и скрепленное единой идентичностью, прежде всего, осознанием себя в качестве суверена, хозяина страны, называют нацией — политической нацией. Пока они возникли не везде. И здесь мы подходим к вопросу о цивилизационных особенностях, под которыми я понимаю прежде всего своеобразие условий в разных странах мира, которые и создают неодинаковые возможности, **разную силу трения для ответа на общие импульсы — вызовы времени.**

Политические нации быстрее формируются там, где в недрах традиционных обществ складываются социальные слои, способные возглавить общество в его противодействии концентрации власти. В Англии, например, уже в средние века аристократия вынуждена была опереться на народ в борьбе с монархией, став лидером нации. Во Франции тот же процесс протекал сложнее и дольше, но в конечном счете роль национального лидера сыграло третье сословие. В России же аристократия сравнительно быстро превратилась в класс «служивых людей», целиком зависевших от царя. Что касается российского «третьего сословия», то оно просто не успело сло-

житься как самостоятельный политический класс за те полвека, которые отделяли падение крепостного строя от социалистической революции. Становление третьего сословия как политического класса не завершено и ныне.

Чаще всего формированию политической нации предшествовала этническая консолидация. Ее отсутствие во многих случаях создает заметные преграды для политической консолидации. В арабском мире есть государства, но нет наций, люди больше идентифицируют себя не с государством, а с некой единой надгосударственной арабской нацией, а еще чаще — с религией. Эти формы идентификации иногда позволяют людям консолидироваться, например, для протестов против карикатур в датской газете, но национальная консолидация внутри страны дается плохо, и это в значительной мере сдерживает модернизацию названных государств. В Латинской Америке есть государства, но в большинстве из них не сложились нации. Образы «мы» не за что зацепиться: одна религия (католицизм), практически один язык (кроме Бразилии) и разнплеменный этнический состав в каждой стране. В любой из этих стран есть свои национальные сборные команды по футболу, и когда они играют между собой, становится понятно, против кого «мы». Однако этого основания недостаточно для национальной консолидации. Что из этого вытекает? Об этом говорит Эрнандо де Сото: более 80 раз в странах этого континента предпринимались попытки модернизации, которые раз за разом проваливались. Не может быть реализован национальный проект, если он не опирается на поддержку нации.

В России есть государство, много веков назад сложился русский этнос, создавший великую культуру и множество национальных символов. Однако в условиях империи не наблюдалась его консолидация на этнической основе. Социологические исследования советского времени показывают, что этническое самосознание русских было слабее, чем у народов других союзных республик. То же самое показали исследования в России начала 90-х годов при сравнении этнического большинства с другими народами РФ. Но вот с конца 90-х ситуация изменилась: по темпам роста этнического самосознания русские стали опережать большинство других этнических групп. Последствия этого неоднозначны. С одной стороны,

весь комплекс социальных проблем все больше приобретает негативную этническую окраску: «это они, чужие, воруют, скупают квартиры, распространяют наркотики, плодят коррупцию и завозят болезни». С другой стороны, в процессе роста этнического сознания многие осваивают идею «мы должны стать хозяевами стран». Это та же идея народного суверенитета, с которой начиналось становление большинства политических наций. К сожалению, люди зачастую добиваются права быть хозяевами не по отношению к стране, а к этническим чужакам — к «гостям». Однако, напомним, что и во Франции, на родине идеи народного суверенитета, многие ее авторы, деятели Французской революции, демонстрировали воинствующую ксенофобию как по отношению к соседним народам, особенно к немцам, так и к своим меньшинствам, к бретонцам или корсиканцам.

В России при общем спаде участия в институтах гражданского общества быстро растут националистические организации. Дело здесь не в особых национальных ценностях. Этнические признаки — всего лишь простейший маркер для разграничения «мы» и «они», особенно в условиях мнимой партийной стратификации в стране. Не исключено, что в России этническая консолидация может стать трамплином для формирования политической нации. Так же они формировались в большинстве стран Европы. Однако последствия развития наций в две стадии были неодинаковыми.

В тех странах, где этнокультурная консолидация являлась лишь инструментом для последующего объединения людей в решении насущных политических и социальных проблем (ликвидации деспотических режимов, борьбе с бедностью, болезнями и др.), там происходила интеграция различных этнических и религиозных групп вокруг большинства. Этническая нация трансформировалась в гражданскую, ускорялся процесс модернизации страны. Так было не только у народов, боровшихся с империей за национальное освобождение, например у голландцев в борьбе с Испанией или у греков — с Османской империей, но и у этносов, составлявших ядро империи. Например, испанцы и турки в XX веке сплачивались в противостоянии с внутренними защитниками имперских комплексов.

Известно и другое направление, когда сами этнические ценности и цели становились доминирующими. На такой основе складывалась идеология этнической или расовой исключительности — возникал фашизм. Это радикальная расистская идеология, соединенная с мифом о мистической предопределенности «особого пути», — миссии избранного народа, расы или цивилизации. Такой выбор, как показывает пример гитлеровской Германии, приводил к трагическим последствиям как для народа, его принявшего, так и для миллионов невинных жертв в других странах.

По какому пути пойдет Россия? Если судить по программам и действиям националистических организаций, то большая их часть уже пронизана расизмом. Однако численность этих организаций не составляет и 2–3% от общего числа людей, переживающих ныне процесс освоения этнического самосознания. Подавляющее большинство из них — не расисты и не националисты, а дезориентированные люди, слабо понимающие причины реальных проблем и еще меньше знающие, как с ними справиться. Да и мудрено было бы ожидать другого в условиях, когда им со всех сторон вдалбливают идею ментальной, национальной исключительности и предопределенности «особого» пути, да еще и запугивают чуждым влиянием, происками варваров, которые уже разрушили Византию, а сегодня посягают на «Третий Рим».

Вызовы времени и тупик мобилизации

Театр Кабуки и театр Станиславского могут сохранять свою уникальность — они не конкуренты. Армия же, вооруженная луками и стрелами, не сможет отстоять свою самобытность перед другой армией, с пушками и танками. Экономическим системам также трудно сохранить свою самобытность в ответах на общие вызовы времени. Все страны переходят от аграрного производства к индустриальному, а некоторые уже перешли к постиндустриальному. Не могут они уклониться и от урбанизации, которая, в свою очередь, влечет за собой перемену образа жизни, типа семьи, демографического поведения. Никакие «архетипы» помешать этому не могут, если в обществе возникает потребность в переменах.

Известен эффект «qwerty» — стандартного расположения клавиш на английской клавиатуре пишущих машин (по первым шести буквам). Сейчас понятно, оно было не самым удачным, но переделывать его дорого и нецелесообразно. Почему? Да потому, что здесь импульс к перемене был слабым. Вот когда наши самолеты перестают принимать в зарубежных аэропортах из-за превышения допустимого уровня шума, это уже импульс посильнее, и несмотря на затраты приходится самолетный парк обновлять. Когда большая страна проигрывает Крымскую войну экспедиционному корпусу — это еще более весомый стимул для перемен.

Нынешняя инерция политической системы обусловлена не столько силой традиции, сколько слабостью импульсов для перемен персоналистского режима в России. Даже осознанные обществом проблемы не сразу формируют импульсы к их устранению.

Сегодня в России существует консенсус в осознании многих социально-экономических проблем. Проявлением этого является и выдвижение «Национальных проектов». Беда лишь в том, что они вовсе не национальные, т.е. не опираются на общество-нацию. Это государственные проекты, которые используют традиционные для цивилизации «особого пути» инструменты: мобилизацию и распределение ресурсов. Одно это уже обрекает проекты на неудачу.

Наука. Власти СССР хорошо осознавали значение научно-технического прогресса. Достаточно вспомнить известный лозунг: «Коммунизм = советская власть + электрификация всей страны». Вместе с тем в советской мобилизационной модернизации эта идея отрывалась от своей естественной основы — эмансипации личности и поощрения свободы научного творчества. В результате великие научно-технические достижения становились достоянием лишь узкой сферы жизни, преимущественно оборонной. Власть могла произвольно подавлять важнейшие направления науки (например, генетику и кибернетику) и насаждать ложные. Наконец, несвободный характер развития науки приводил к тому, что узкий слой научной интеллигенции прорезивался в результате репрессий или вымывался миграционной «утечкой умов» при первой же возможности.

Сегодня ситуация изменилась, но не во всем, к лучшему. Престиж науки упал ниже, чем был в советское время, и дело здесь не только в оплате труда ученых. Ни в одной из развитых стран они не получают столько же, сколько банкиры или адвокаты, но занятие научной деятельностью лидирует по социальной престижности. Такое происходит в обществах, в которых идея прогресса стала символом веры. У нас же она забыта, а все надежды на будущее связываются с тем, что в других странах «корова сдохнет» — возрастет их потребность в ресурсах. Кичимся духовностью, а нарастает мракобесие — неизбежный спутник застоя. Какая уж тут наука? Великие научные достижения возможны лишь в научном сообществе, а у нас оно распадается. Человек может сделать значительное открытие в провинциальном вузе, но оно здесь и умрет, если не будет украдено в Москве. Горизонтальные научные связи слабеют, а вертикализация научного и культурного пространства возрастает. Когда государство монополизировало распределение ресурсов на науку и культуру, то делает это в строгом соответствии с иерархическим статусом населенного пункта.

Демография. Мобилизационная модернизация опирается на демографические ресурсы. И войны можно выигрывать, затрачивая больше солдатских жизней, чем противник, и великие стройки проводить, не жалея чужих жизней. В Китае еще так жить можно, а у нас этот ресурс убывает. Что делает государство? Мобилизует и распределяет ресурсы на повышение рождаемости. Однако по этим показателям Россия не отстает от других стран Европы, в которых на социальные нужды уже затрачивается больше, чем может позволить себе наша страна в 2020 году. Другое дело, смертность — самая высокая и продолжительность жизни — самая низкая в Европе. Смертность в России возросла даже в сравнении с «ужасными девяностыми». Почему? Она не поддается решению с помощью мобилизационных методов. Вот бывшие коммунистические страны, вошедшие в ЕС, еще недавно характеризовались такими же показателями смертности и продолжительности жизни, как и Россия. Сегодня же эти показатели заметно улучшились, во многом потому, что новые страны Содружества приняли его нормы в отношении к человеку как высшей ценности. В таких условиях здоровый образ жизни становится престижным и

ценным. В национальном масштабе общество отказывается от курения. Люди занимаются спортом не столько для престижа великой державы, сколько для собственного здоровья.

Коррупция. Не нужно объяснять, что эта проблема при ее разрастании способна парализовать жизнь в стране. Однако пока еще многим нашим согражданам непонятно, что одними лишь государственными усилиями эту болезнь нельзя вылечить. Более того, концентрация власти в руках государства как раз и влечет за собой разрастание этого тромба: больше проверяющих — выше объем взяток и шире зона коррупции. Но мы же не первые столкнулись с этой проблемой. Вот в Италии в конце 1970-х, после 30-летнего правления одной партии, уровень коррупции был выше нашей, а полицию боялись больше, чем преступников, полагая, что это та же мафия, только защищенная государственной «крышей». Люди долго готовы были жить «по понятиям», но лишь до тех пор, пока норма взятки не превысила норму прибыли. И тогда началось народное движение «чистые руки», сплотившее нацию и сдвинувшее с мертвой точки проблему коррупции.

* * *

А что будет в России? Будет то, к чему жизнь подтолкнет. Жизнь, а не одни лишь слова. Если бы все решали слова, то авторитарные режимы существовали бы вечно, обладая монополией на распространение слов, на манипуляцию общественным мнением. Но такие режимы все же уходят, не справляясь с необходимостью отвечать на реальные вызовы времени. Когда возникает потребность в переменах, информация, проходящая по узким каналам «самиздата», может стать влиятельнее, чем та, которую легко получить из ежедневных и самых массовых СМИ.

Надежды на решение современных проблем дедовскими методами государственной мобилизации тщетны и иллюзорны. Ныне это действительно «особый путь», поскольку он тупиковый. Однако и утверждения значительной части российских либералов о том, что уже исчерпаны ресурсы мобилизационной модернизации, — тоже миф, самообман. Мое предложение просветителям. Прежде чем просвещать — давайте сами

просветимся. Автомобиль «Волга» морально устарел еще 20 лет назад, но эксплуатируется и еще 20 лет может эксплуатироваться, если будет пользоваться спросом. И лишь когда спрос иссякнет, можно будет говорить о том, что ресурс этого товара исчерпан. То же можно сказать и о политическом режиме. Исчерпание его ресурсов наступает лишь тогда, когда общество, по крайней мере активная его часть, воспринимает неспособность власти решать насущные проблемы как вызов, побуждающий к переменам, когда пробуждается интерес к фильмам типа «Так жить нельзя». Пока же потребительский бум свидетельствует: большая часть населения России считает, что в нынешних условиях жить можно, а когда грянет гром, мужик перекрестится — во всех смыслах этого слова, включая и смену символов политической веры.

Однако условия и механизмы превращения острых проблем в национальные вызовы пока мало изучены, они требуют серьезного анализа. На мой взгляд, именно этот вопрос становится одним из центральных в российской общественной науке и останется таковым в ближайшие годы.

Обсуждение докладов

М.Ю. Урнов, д. полит. н., ГУ — Высшая школа экономики

Из доклада А. Рябова и из того, что говорил Э. Паин, у меня возникло ощущение, что оба выступления можно было бы продемонстрировать в качестве некоторых индикаторов и показателей глубокого кризиса нынешней интеллигенции как социальной группы.

И в том, и в другом выступлении содержится много умных, конструктивных, абсолютно грамотных мыслей. Нет базовой, с моей точки зрения, для интеллигенции проблемы, а между тем она важна не потому, что она традиционно «интеллигентская», а потому что она лежит в основе того, что происходит с интеллигенцией сейчас: речь идет о глубочайшем мо-

ральном кризисе общества, когда, действительно, отсутствуют ценности, перед которыми люди склоняют голову. Когда во имя больших денег можно всё. Когда нарушение моральных норм воспринимается как норма, а значит, можно нарушать и закон. В результате наше общество оказывается одним из самых жестоких на евроазиатском континенте. В результате разрушена трудовая этика. В результате каждый человек, приходящий к власти, думает не столько об общественном благе, сколько о собственном кармане, а общество кричит «ура!», потому что тоже думает о собственном кармане.

Паин начал говорить об атомизации общества — так оно и есть. Тотальное недоверие друг к другу, к социальным институтам, зафиксированное еще в те годы, когда только-только стало возможно проводить социологические опросы на политические темы — где-то в середине 80-х годов всё это уже просматривалось. Что же делать в такой ситуации?

Мой взгляд на будущее крайне пессимистичен, тем не менее я считаю, что каждый должен делать то, что он может в этой ситуации. Интеллигентская позиция, по-моему, должна быть такой: не нарушай моральных норм сам, не продавайся, не будь холуем. Не продавайся и проповедуй, говори обществу в глаза, каково оно есть. Говори власти в глаза, что власть ворует, что власть беспринципна. Говори обществу в глаза, что оно аморально, что оно безграмотно, самодовольно. Говори — но имей на это моральное право. Если будешь иметь на это моральное право, твои слова, возможно, будут услышаны.

Чем это всё закончится, будет ли такое поведение, будет ли такая проповедь иметь желаемый результат — оздоровление общества, создание ткани межчеловеческих отношений, а потом институтов, уважение к закону, собственности, — не знаю, слишком глубокий кризис. Но, по крайней мере, делай это!

Вот, собственно, и весь, единственный на сегодня полутрагический рецепт — потому что других не знаю. В массовые движения не верю. Слоя, который мог бы обновить структуры, на сегодняшний день не вижу. Остается медленное продвижение через моральное оздоровление каждого из нас и микросреды вокруг нас — через просвещение, образование. Это рассчитано на очень долгий срок. Есть ли он у нас? Не знаю...

Н.Б. Иванова, д. филолог. н., журнал «Знамя»

Мы помним время больших иллюзий, когда тиражи толстых литературных журналов исчислялись миллионами. Например, тираж «Нового мира» составлял два с половиной миллиона экземпляров. Первое, что сделал Михаил Сергеевич, встретившись с творческой интеллигенцией, — он поменял, пользуясь своими властными полномочиями, главных редакторов двух толстых литературных журналов — «Знамя» и «Новый мир». Были назначены Г. Бакланов и С. Залыгин.

Тиражи выросли фантастически.

А если мы умножим тираж каждого номера, который печатал, например, роман «Доктор Живаго», хотя бы на четыре (в библиотеках тогда стояли очереди), то получается, что минимум десять миллионов человек одновременно прочитали роман Пастернака. То же можно сказать в отношении таких книг, как «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Собачье сердце» Булгакова, «Реквием» Ахматовой.

Понятно, что мы жили в состоянии иллюзий и думали, что это изменит сознание: все-таки если десять миллионов человек читают и хотят прочитать такие книги, значит, у них меняется сознание.

К сожалению, этого не произошло. Например, в 1990 г. моя книга о Фазиле Искандере вышла тиражом 35 тысяч экземпляров, а сегодня журнал «Знамя» выходит тиражом 4,5 тысячи экземпляров, хотя журнал стал намного интереснее, чем десять лет тому назад, потому что он гораздо современнее.

Какой можно сделать вывод? Что упование на проповедь, о чем говорил Марк Урнов, к сожалению, не оправдывается. Кстати, Гумилев (как, по слухам, до нас донесли) говорил Ахматовой: «Аня, если я начну «пасти» народы, удуши меня».

Совершенно другое — расчет на профессионализацию, о чем говорил Андрей Рябов. Чем дальше, тем больше я наблюдаю среди творческой интеллигенции уход в чистую профессионализацию. То есть не «поэт больше, чем поэт», а поэт «как можно уже». Если ты — филолог, то ты «филолог как можно уже». Слово публицист, просто, становится бранным словом. Публицист — это никто, эссеист — это ни о чем.

Уход в узкую профессионализацию, которая сегодня во-зобладала в сознании творческой интеллигенции, совершенно цинично срывается с определенным отношением к власти: если я хороший профессионал, если я пишу замечательные стихи, то почему бы мне не «срастись» с властью, чтобы получить деньги на выпуск нового собрания сочинений?

Творческая интеллигенция сегодня исполняет заказ власти и делает это на наших глазах и с одобрения общества. Сравним хотя бы два фильма: «9 рота», поддержанный прямым просмотром у президента и дальнейшими хвалебными рецензиями, и «Груз 200», который вызывает такое отторжение и у власти, и у зрителей.

Я считаю, что общество, действительно, глубоко расколото. Каждый социологический опрос это показывает и свидетельствует о кризисе в обществе. Я считаю, что творческая интеллигенция в подавляющем большинстве боится власти, если не куплена ею. Я считаю, что наступило время эзопова языка. Это новый период, хотя мы его уже проходили. Эзоповым языком написаны гениальные вещи, в том числе «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера и «Дом на набережной» Юрия Трифонова. Хорошо, если бы сейчас появилась такая хорошая литература. К сожалению, об этом пока остается только мечтать.

Говорят, что история — это судьба, но не хотелось бы в это верить, потому что по природе мы оптимисты, мы так устроены — очень хочется спорить с историей. В стихах Александра Кушнера, которые предьявляли как идеологическое обвинение во время застоя, были такие строки:

*«Россия, опытное поле,
Мерцает в смутном ореоле
Огней, бегущих в стороне.
О чем, скажите, наши мысли?
Всегда о том — о смысле жизни».*

Стихи были рассыпаны, их нельзя было напечатать. Сейчас можно напечатать всё крошечным или большим тиражом, если за это кто-то заплатит, — почти никакой реакции, к сожалению, это не вызовет.

Я помню время, когда работала в журнале «Дружба народа», и мы печатали «Дети Арбата» — письма читателей приходили мешками. Я помню, когда в журнале «Знамя» печатали

статьи публицистов, а в «Новом мире» — статьи Пияшевой и Шмелева. Письма читателей тогда приходили мешками. Сейчас газеты выдумывают письма и печатают их.

Но нам надо задуматься и о языке, которым разговаривают «несогласные». О языке, которым они разговаривают с обществом или с властью. О языке оппозиционных средств массовой информации — скажем, «Новой газеты». По большей части, это старый новый язык, к моему глубокому сожалению — язык упрощенной, усредненной публицистики. Я не хочу критиковать своих единомышленников, но мне кажется, что сегодня остро стоит проблема языка, которым мы разговариваем и которым с нами разговаривают. Поскольку пропасть огромна — власть занимается своими делами, общество — своими, а творческая интеллигенция пишет стихи (может быть, даже гениальные), которые мало, кому нужны. Эти три силы абсолютно отчуждены друг от друга.

Д.Е. Фурман, д.и.н., Институт Европы РАН

В докладах есть много такого, с чем я не могу согласиться. Но я хочу сейчас остановиться только на одном вопросе. Что должно произойти с такой системой, как наша система, чтобы мы пришли к реальной демократии? Какие должны произойти события?

Современная Россия — это не тоталитарная система с мощной идеологией. В принципе эта система с Конституцией. Конституция, конечно, плохая. Конечно, ее со временем надо будет менять, но в ней всё прописано, ничего «страшного» в ней нет. Но реальный механизм власти к Конституции имеет косвенное отношение. В Конституции прописаны свободные выборы. Реально мы знаем, что живем в системе, когда один президент назначает другого президента. Эта цепочка продолжается, и неизвестно, когда прервется. Что нужно, чтобы перейти от такой системы к демократии?

Прежде всего, нужно, чтобы хоть раз эта цепочка была прервана. Чтобы хоть раз на выборах победила оппозиция или, во всяком случае, не тот, кто назначен. Это совершенно недостаточно для победы демократии, потому что очень часто

даже пришедший таким путем человек или политическая сила дальше начинают создавать такую имитационно демократическую систему, закрепляться у власти и т.д. Это недостаточное условие. Надо, чтобы у победившей стороны было достаточно сил, чтобы победить, но одновременно должна с самого начала присутствовать еще сильная оппозиция — иначе будет вариант Лукашенко. Лукашенко пришел к власти в результате честных демократических выборов, настоящей электоральной революции. Дальше он постарался сделать так, чтобы этого не повторилось никогда.

Говорить об укреплении и стабилизации демократических институтов можно только тогда, когда несколько раз «прокрутится» этот механизм. Только с третьей, с четвертой ротации можно говорить, что система заработала, правила стали действительными правилами, что «правила игры» приняты.

Я сейчас не буду говорить о том, что происходит после первой ротации — даже это слишком далеко от нас. Я буду говорить только о первом, абсолютно необходимом, но недостаточном шаге. Этот шаг — победа на выборах оппозиционного кандидата.

Теперь посмотрим, что нужно для этого. (То, о чем я говорю, в разных странах было уже раз пятьдесят: и в Украине, и в других странах СНГ, и за его пределами.) Нужно, прежде всего, появление оппозиционной политической силы, которая настолько сильна, что может победить, может получить 51 процент голосов. Должна вырасти такая сила. Но этого недостаточно для первого шага, потому что мы знаем, как у нас подсчитываются голоса, мы знаем, как у нас происходят выборы: можно получить реально 51 процент голосов, а будет назначено 30 процентов.

Значит, нужно давление на власть, когда люди выходят на площадь. То есть для победы должна быть не только электоральная база, но и сильная мотивация большой группы лиц (меньшей, чем электоральная база, но достаточно большой), которые будут выходить, будут требовать и пойдут на противостояние и риски. Если это происходит, начинается борьба нервов, и власть может сдаться, а может не сдаться. Здесь существуют разные варианты.

То, о чем я говорю, — нормальный, естественный путь. Но для этого нужна сильная, мощная оппозиция, а у нас нет вообще никакой оппозиции. Наши либерально-оппозиционные партии мечтают только о том, что Медведев устроит «оттепель» и, может быть, даст им «проскочить» в Думу. Но от этого до 51 процента голосов и вывода на улицу тысяч людей — расстояние в сто лет.

Представим себе постепенное движение в этом направлении — это направление украинское и сербское. Между прочим, в совершенно разных культурах, происходят однотипные события (в Зимбабве, в Кении.) В общем, они логически однотипны: фальсифицированные выборы, и люди выходят на улицу.

Возникает ситуация: с одной стороны, приход к реальной демократии, очевидно, неизбежен. Эта тенденция современного мирового развития: к демократии приходит все больше и больше стран.

С другой стороны, сейчас в России логический, естественный путь перехода представляется или нереальным, или, действительно, рассчитанным на сто лет, — которых просто нет.

Что остается, если этот путь слишком труден и долг? Остаются два варианта: один — плохой, другой — хороший. Плохой очень вероятен. Это хаос. Это маразмизирование власти и маразмизирование до такого уровня и до таких пределов, когда она утрачивает контроль над обществом, но общество при этом не организовано. Это очень плохой вариант.

С моей точки зрения, Путин был, в общем, прав, когда говорил, что Россия исчерпала лимит на революции. Но сам он делал всё возможное, чтобы доказать ошибочность этого утверждения. Путин прав, потому что если произойдет еще одна катастрофа, мы выйдем из нее невероятно ослабленными. Но такой вариант значительно более вероятен, чем первый, логический вариант.

Тем не менее существует надежда, что включится субъективный фактор. В принципе нынешняя ситуация очень похожа на позднесоветскую. В позднесоветское время очень многие были убеждены, что мы держимся на волоске. Для очень многих было очевидно, что конец близок. Хотя какой конец — ни-

кто не предполагал. И во всяком случае никто не предполагал, что будет шесть лет упорядоченных реформ, которые сделали этот конец хотя и катастрофическим, но во много раз более мягким, чем он мог бы быть. «Субъективным фактором» тогда оказался Михаил Сергеевич Горбачев. Иначе говоря, вдруг появляется нечто, никем не предсказанное.

Может быть, есть возможность выйти из этого круга, для чего нужна и очень большая воля и, в общем, большое понимание. Шансов на это ничтожно мало, но они есть — все-таки они всегда есть.

Постепенного перехода к демократии быть не может, потому что есть рубеж. Первый этап — победа не того, кто назначен, — это по сути своей революционный акт, но для страны, у которой подобного никогда не было в истории, — это кризис. Без кризиса обойтись никак нельзя. Другое дело, совершенно необязательно кровавый кризис — но все-таки кризис.

Б.И. Макаренко, Фонд «Центр политических технологий»

Мне очень понравился доклад Андрея Виленовича Рябова. Именно поэтому я хотел бы поспорить с одним словом, которое задело за живое, хотя я думаю, что это просто терминологический спор. Андрей Рябов видит одну из причин того, что у нас демократизации не получилось, в том, что демократизация была вещью инструментальной.

Мне кажется, я понял, что имелось в виду. Что наши демократизаторы пользовались демократией как инструментом: сегодня годится этот инструмент — пользуемся, завтра почему-то не годится — мы пользуемся другим инструментом.

Я поспорю с этим, потому что мне кажется, что демократия — очень инструментальная вещь. Демократия — это не столько то, что делается, а как делается, каким инструментом. И вот здесь беда нашей демократизации в том, что она была не инструментальной в двух смыслах.

Первый смысл — действительно, у нас демократия не опиралась на глубокое убеждение, что только так можно. Так,

немецкий рабочий будет шуруп заворачивать отверткой, как бы тяжело ни шла резьба. Он знает, что только отверткой можно завернуть. А наш рабочий, к сожалению, когда «дальше не идет», берет кувалду и вгоняет ее по самое основание. То, что потом такая конструкция развалится на первом же ухабе, ему в голову не приходит.

Вторая вещь. Демократия инструментально — ноу-хау конкретных людей. Вообще, всё постсоветское пространство — это уникальная демократизация по многим основаниям, в первую очередь потому, что ее делали люди, которые демократию никогда в глаза не видели. Испанцы, португальцы, греки, многие демократии «третьего мира» жили, учились, работали, по крайней мере ездили отдыхать в демократии. Они видели, как это всё делается. Для них это было понятием не чужим. В отличие от нас.

Честь и хвала тем обществоведам, международникам, многие из которых составляли окружение Михаила Сергеевича Горбачева и которые убедили элиту, во всяком случае большую ее часть, что страну нужно демократизировать и либерализовать. Но для них это было абстрактное книжное знание, потому что выезд один раз в год во Францию, один раз в год в Болгарию — был предел того, на что мог рассчитывать советский обществовед. Для него это было абстрактным идеалом, а не ноу-хау. Нашим центральноевропейским и прибалтийским соседям было проще.

Я здесь воспользуюсь аллюзией: в Европе, в Прибалтике еще были живы люди, которые помнили, что когда-то в этом бассейне была вода и когда-то они туда прыгали. Они были уже достаточно пожилыми людьми, но они могли рассказать детям, как нужно плавать.

Если посмотреть, где демократизация на постсоветском пространстве получилась, а где не получилась. — граница проходит по границам Советского Союза, но не 1991 г., а 1939 года. Посмотрим на две страны СНГ, в которых демократизация — с запозданием, скорее, в начале этого века, а не в прошлом десятилетии, все-таки как-то пошла. Это те страны, которые в 1939 году были разрезаны, — Украина и Молдавия, которые после 1939 года объединились с чем-то. Эта живая память, эта инструментальность очень важна.

В заключение попробую предложить два основания для оптимизма.

Первое — все-таки у нас появились люди, которые «попрыгали в бассейн», в котором было воды на доньшке, и не все разбились, какой-то опыт обретен. Андрей Рябов употребил понятие «городской средний класс» или «городские средние слои». Мы просто не знаем их. Мы не знаем их ценностей. Мы говорим о привычном нам эзоповом языке, но у нового среднего класса он совсем другой. Новый средний класс опустился, провалился в болото реформ, но вылез из него совершенно другим. «Мюнхаузен» вытащил себя за волосы. У них есть свой эзопов язык. Пока он нам не очень нравится и не очень приятен. Они слушают группу «Ленинград», песни которой на три четверти состоят из мата. Но это их протест против этой реальности. Они по Интернету переписываются на т.н. подонковском языке, очень ломаном русском. Это тоже форма новой самоорганизации, поиска нового языка.

Второе — если говорить о модернизации России, то на этом пути все ее ресурсы, кроме демократизации, исчерпаны. Высокие цены на нефть, рост потребительского спроса дали толчок российской модернизации последнего года. Больше они ничего дать не могут, может быть только какая-то инерция. Все страны, которые шли по этому пути, включая успешные т.н. нетипичные демократии Востока, рано или поздно приходили к тому, что если не идти на либерализацию режима, на демократизацию, то останавливается модернизационный процесс. Если вы прочитаете речь Дмитрия Анатольевича Медведева в Красноярске, которая начинается с гимна свободе, если посмотрите достаточно краткую программу социально-экономического развития России до 2020 года, — в них об этом сказано, и это внушает надежду.

В.Б. Кувалдин, д.и.н., Московская школа экономики

Мне кажется, нам не надо двигаться в порочном круге российской истории. Мы должны полностью учесть опыт, в частности последнего двадцатилетия, который весьма поучителен. Мы не должны увековечивать исторические грехи россий-

ской интеллигенции. Надо сделать выводы из трагедии перестройки, извлечь уроки из последующего периода, который тоже, по-моему, интересен, содержателен и ни в коем случае не заслуживает к себе высокомерно-снисходительного или нигилистского отношения.

Что я имею в виду? Думаю, что проблемы российской демократии невозможно решить в отрыве и вне контекста проблем российской государственности. Если мы не поставим вопрос о создании дееспособного, эффективного, перспективного российского государства в контексте глобального мира, в котором мы живем, то будем продолжать двигаться по тому же порочному кругу в двух вариантах: или это будет глазом вопиющего в пустыне, или же это движение будет неизбежно приобретать разрушительный антигосударственный характер. И тогда в интересах России его надо будет подавить, ибо его развитие будет означать катастрофу, масштабы которой могут превысить масштабы катастрофы и 1917-го и 1991-го годов.

Иными словами, проблема демократии должна рассматриваться как функция создания нового Российского государства. В этом плане очень интересен, по-моему, опыт путинского периода. Путин воссоздал российскую государственность, так, как он это видел, понимал, мог, как было продиктовано объективными обстоятельствами и его субъективным выбором. Он воссоздал ее в чрезвычайных условиях как чрезвычайную конструкцию, как государство, основными характеристиками которого является восстановление олигархически-бюрократической модели. В сущности, это современное издание достаточно традиционной русской системы, построенной на концентрации власти и собственности в руках немногих.

Думаю, что надо с уважением относиться к его рейтингу, потому что он означает простую вещь: страна с ним, а не с людьми, которые призывают к демократии. Он демократию не обещал, этого не было, он не с этим шел на выборы 2000 и 2004 годов. Он обещал другое: навести порядок. Он свое обещание выполнил. И, соответственно, заработал свой рейтинг. И если бы мы сегодня подводили черту, то я думаю, что у Путина — хорошие шансы занять достойное место в российской истории.

Что оценили люди? По своему опыту участия в политических кампаниях, могу сказать, что люди многое видят и понимают. Они видят цинизм, аморальность, недопустимый разрыв между имущими и неимущими. Они видят, что их голос ничего не значит. Но, мне кажется, сработал инстинкт самосохранения. С их точки зрения, Путин сохранил самое основное — шанс на будущее. Думаю, были вещи, которые ему было бы лучше не делать, я имею в виду сейчас в первую очередь внутреннюю политику. Есть вещи, которые он мог бы, по-моему, сделать. Но об этом, отныне, будут судить и разбираться историки. Как политик, по крайней мере, он получил сейчас свою оценку. Она будет пересматриваться в ту или иную сторону, как, собственно, у всех президентов, которые наложили сильный отпечаток на жизнь своей страны. Еще предстоит долгие, бесконечные споры по поводу его президентства, его политического наследия. Но, так или иначе, оно состоялось, и у него есть чем отчитаться.

Итак, резюмирую: вопросы развития демократических институтов надо ставить в контекст создания нового Российского государства.

Что для этого нужно? Я, конечно, верю в теорию малых дел, в профессионализм, в моральный стоицизм — во все это. Но думаю, что в условиях того российского общества, которое есть здесь и сейчас, это не сработает сполна, даст ограниченные результаты, это нас не выведет на новое качество. Поэтому нужна программа, которая апеллировала бы к обществу в целом. Нужен новый русский проект. Специально говорю «русский» и сразу хочу сказать, что ни в коей мере не вкладываю сюда этнический смысл.

Если мы не предложим новый русский проект, в котором себя увидят все нации нашей страны в качестве государственно-образующих, — то будет мина, заложенная под новое Российское государство. То есть новый русский проект — это проект, в который включены люди любой веры, любой национальности. При этом надо трезво отдавать себе отчет в том, что Российское государство — и исторически, как мы сейчас видим, и царское, и советское, и сегодняшнее — слабо. И сильным оно быть не может. Одна из основных причин его слабости — то, что у нас так слабо гражданское общество. Государст-

ва Запада, конечно, сильны институтами, процедурами, своими вышколенными корпусами чиновников, сильны традицией, сильны своим гражданским обществом, которое выступает полноценным партнёром власти.

Новый русский проект должен предусматривать создание российской государственности, отличающейся от традиционной русской модели государственности, где на равных действуют официальные органы и гражданское общество. Такова должна быть его направленность содержание нового русского проекта.

Вкратце повторюсь. Первая мысль. Все наши устремления, идеалы, движения в сторону демократии бесплодны вне контекста создания и укрепления Российского государства, которое всегда было слабо. И эта слабость обнаруживалась все отчётливее по мере того, как развивались новые государства, государства нового времени, скажем, в Европе и на американском континенте.

Вторая мысль заключается в том, что новое Российское государство должно быть продуктом всех 142 миллионов россиян без какого-либо различия. Они должны себя найти в общественном проекте.

И третья, последняя мысль. Здесь, по-моему, очень правильно говорил Борис Игореvич Макаренко: нужен новый политический язык. Он может быть только языком интересов наших сограждан. Андрей Виленович Рябов прав: городские средние слои играют ключевую роль. Но в новом русском проекте себя должны увидеть все или, хотя бы, подавляющее большинство граждан страны, или, как минимум, политическое большинство, способное решить стоящие задачи.

Нужен новый язык. У новых средних слоёв свой язык. Это не язык советской эпохи и даже не язык 90-х годов, у них плохой русский язык с точки зрения литературных канонов. Но мы должны апеллировать к их интересам. И здесь надо вернуться к идее перестройки. Эти люди должны себя увидеть действенными в системе политической власти. И они должны себя увидеть полноправными собственниками, несущими полную ответственность за судьбу страны.

Это, безусловно, подразумевает (я здесь согласен с Дмитрием Фурманом) конфликт, жесткий конфликт. Потому что

люди наверху устроились, им хорошо, власть сконцентрирована, собственность подобрана, делиться они не хотят. Даже когда это диктуют инстинкты не только сохранения страны, но и инстинкт самосохранения. Так далеко их мысль не заходит. И все просто так не придет.

Думаю, что прорыв в будущее невозможен, если в самой правящей верхушке, в элите не образуется некий слой, который осознает, что такое стратегические интересы, который будет готов пойти против течения, навязать свою волю основной массе правящего слоя, опираясь при этом на поддержку страны.

И здесь моя оценка не столь пессимистична, как прозвучавшие ранее. Да, это были тяжелые, жестокие, а во многом и отвратительные годы, которые нам пришлось пережить за последние двадцать лет. Но значительная часть общества выжила, научилась жить самостоятельно.

И всё было не напрасно. Сегодня мы не живем в демократической стране, но мы живем в свободной стране. И нам совершенно необязательно снова учиться говорить эзоповым языком. Общество ждёт открытый язык. И это допускается сложившимися нормами. И хотя поворот к репрессиям всегда возможен, думаю, он маловероятен.

Полагаю, что именно на это мы должны ориентироваться — на диалог с обществом, на демократический идеал, который будет прочно вписан в конструкцию новой российской государственности.

И.И. Курилла, зав.кафедрой зарубежной истории и мировой политики Волгоградского Государственного университета

Завязавшаяся дискуссия мне представляется очень интересной. То, что я скажу, может быть, будет рифмоваться с некоторыми положениями доклада Андрея Рябова и в меньшей степени с положениями Эмиля Паина.

Я считаю, что главная проблема и в истории России, и в том, что сегодня происходит в нашей стране, — это проблема

отношения государства и общества. Некая смена отношений, некая смена моделей отношений началась как раз с периода перестройки. За прошедшее время мы были свидетелями и участниками нескольких периодов общественной активности.

Большинство выступавших сегодня все-таки говорили о политике и политической элите, политических структурах. Я меньше про это знаю и, честно говоря, мне менее это интересно. Наша политическая элита, к сожалению, не вызывает у меня ни интереса, ни доверия. Но когда здесь звучали оценки общества как неготового, атомизированного, у меня они вызвали протест. На самом деле общество структурировано. Оно гораздо менее структурировано, чем в развитых демократиях. Но в обществе есть структуры. Просто некоторые из них мы не замечаем, а некоторым придаем недостаточное значение.

В период перестройки общественная активность выражалась в политических движениях, в большой политизации общества. Мы все помним: когда некоторый результат был достигнут, политические цели достигнуты (или казались достигнутыми), то эти движения прекратились. Это был первый этап общественного независимого движения. Тем не менее он был важным, он послужил уроком для значительной части общества, что можно добиться чего-то инициативой снизу.

Следующий этап — 1990-е годы, когда государство ушло отовсюду: государство ушло из сферы контроля, из сферы оказания социальных услуг, — был тоже очень важным. В то время мы проводили исследование некоммерческого сектора в Волгограде и обнаружили замечательную вещь: в городе, как грибы, стали расти общественные организации (огромное количество), и среди них было много сильных, самостоятельных и независимых. Это было новое явление к концу 90-х. Но большая часть, буквально 80 или 90% из активных, серьезных некоммерческих организаций, — это такие организации, как «Родители детей-инвалидов», организации инвалидов, то есть те, кто иначе бы не выжил. Когда государство бросило их, им ничего не оставалось, как самоорганизоваться.

Это были очень тяжелые времена, было тяжело всем. Но если искать в этих временах положительную сторону, то по-

ложительное в том, что брошенные в воду, не умеющие плавать люди вынуждены были учиться плавать. И к концу 90-х годов у нас появилось, я думаю, в целом по стране достаточно большое количество энергичных, самостоятельных, независимых от государства общественных организаций. Но, прежде всего, такой направленности организации, которые помогали себе, своим членам и уже начали помогать окружающим.

В письменном варианте доклада А. Рябова было наблюдение, что демократы конца 80-х — начала 90-х годов надеялись на государство. Я согласен с этим. И в этом, я считаю, была серьезная ошибка. Потому что опираться на государство, на авторитарную модернизацию сверху означало возвращать Россию к нашему петровскому циклу — это тот путь, на который и вернул страну Владимир Путин, когда пришел к власти.

Наш шанс был в перестройке отношений между государством и обществом. Надо сказать, что в 90-е годы выстраиванием гражданских структур (если уж упомянуть о политиках) занимались не правые, не демократы, а левые. Коммунистическая партия Российской Федерации, надо сказать, в небольших провинциальных городах активно занималась тем, чем занимается обычно гражданское общество. Они там и клумбы сажали, и занимались защитой обездоленных, и занимались организацией и самоорганизацией общества. КПРФ — конечно, пример политической организации. Но, в общем-то, левые занимались гражданским обществом. Не правые. Правые пытались в правительстве, сверху продавить какие-то реформы.

Результат очевиден. Когда пришел Владимир Владимирович, ему не потребовались больше правые как идеологи, как технические проводники реформ. Оказалось, что общество у нас более левое, и структуры там более левые, что тоже очевидно и понятно.

2000-е годы, отмеченные реваншем государства, которое пытается возглавить создавшееся гражданское общество и выстроить некоммерческий и неправительственный сектор сверху, ставят сегодня нас перед проблемой: возвращается ли наше общество к новой «атомизации». Я считаю, что нет.

Уровень самоорганизации не уменьшается с запретом и роспуском даже значительной части НКО — дело в том, что ее, самоорганизацию, нельзя свести к какой-то одной форме. Где же увидеть эти новые общественные структуры, какие слои общества готовы к осознанию не только своих интересов, но и своей гражданской ответственности?

Здесь я бы вернулся к теме нашего Круглого стола, которая мне кажется очень своевременной — теме о профессионализации и интеллигенции. Я не могу согласиться с прозвучавшим сегодня мнением, что профессионализация у нас циничная.

Дело в том, что сейчас те самые городские средние слои тоже можно разделить и посмотреть, кто там есть.

Я меньше бы в этом деле надеялся на бизнес. Он слишком у нас связан с властью, слишком зависим от власти. А вот профессионалы, те, кого мы называем гуманитарной интеллигенцией: преподаватели, ученые, профессионалы-врачи, может быть, профессионалы-юристы... Я считаю, что если где-то ожидать структурирование независимых от государства структур, то в этих профессиональных слоях.

Мне кажется, что это сейчас очень важно, особенно учитывая, что сегодняшнее государство пытается играть на поле профессионалов-гуманитариев. Когда государство пытается выстраивать символические структуры, когда государство пытается контролировать учебники истории и вообще все символическое пространство, профессионалам-историкам пора вспомнить, что это их поле. Им пора задавать собственные критерии допустимого в рамках социального конструирования, не идя на поводу у государственных элит. Необходимо выстраивать собственные системы идентичности (прежде всего, профессиональные критерии качества), позволяющие поддерживать альтернативные навязанным государством (и опозицией) критерии взаимной оценки.

Голос гуманитариев уже слышен. Их профессиональная самоорганизация может стать следующим шагом в развитии гражданского общества в России. В этом я вижу основания для оптимизма.

Л.М. Дробижева, д.и.н., Институт социологии РАН

Проблема, которая поставлена на обсуждение, несомненно, актуальна. Но мне хотелось, прежде всего, уточнить, о чем мы хотим говорить. Если мы хотим говорить об интеллигенции, то интеллигенция — понятие, которое сейчас в науке совершенно не структурировано. Если мы говорим о профессионалах, то это люди с соответствующим набором характеристик. Они теперь так и называются — профессионалы, т.е. люди, которые имеют соответствующее образование, знают компьютер, иностранный язык, умеют водить машину, ну и по соответствующим нормам специальности выполняют свою работу. Это профессионалы. Другое дело — понятие интеллигенция, которое никто сейчас не определит. Потому что сейчас это становится больше гуманитарным понятием. И думать, что это какая-то общественная сила, которая может стать опорой в общественных движениях, — значит, быть достаточно опрометчивым.

Второе — это позиции демократии, тех общественных сил, которые должны ее поддержать. Если человек болен, и ему все время говорят об этом, то он значительно хуже будет выздоравливать, чем тот, который зная о своей болезни, надеется на выздоровление. Если он разумно ведет себя, то добьется успеха. (Это медики доказали экспериментально.)

Если мы слышим только о нашей моральной несостоятельности, люди не будут думать, что у них есть силы для того, чтобы что-то сделать.

В то же время мы находимся в ситуации, когда все данные, которые получаем по результатам опросов, все-таки противоречат только пессимистическим оценкам. Говорят, что гражданского общества у нас нет, но в ходе опросов люди отвечают, что они ощущают себя гражданами России. Говорят, между прочим, так же, как говорят жители Германии и Италии. Э.А. Паин ссылался на европейское сравнительное исследование 2005 года — сейчас мы имеем данные 2006 года. И видим, что эти данные повторяются. И так же, как в других странах, люди, которые называют себя гражданами, одновременно говорят о том, что быть гражданином — значит, чувствовать ответственность за свою страну.

Конечно, существуют социологические опросы: одни более репрезентативные, другие менее репрезентативные и качественные. Но если идут регулярно повторяющиеся данные, то это все же убедительный факт. Вот два социологических исследования: Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (его с российской стороны в Институте социологии РАН ведут П.М. Козырева и М.С. Косолапов) и Европейское социальное исследование дают одни и те же данные: 65% респондентов чувствуют себя гражданами России, 60% — чувствуют ответственность за судьбу страны. Значит, какие-то изменения происходят.

Говорят: почему вы надеетесь на средний класс, у нас его нет. Но все-таки идут повторяющиеся данные: где-то 9% — это те, которые постоянно бедные, на них никакого реформационного подъема ждать нельзя. Еще 10–20% — это те люди, которые постоянно чувствуют какую-то нехватку. Кое-кто из них может быть инновационен, но не многие. Но есть где-то около 20 процентов тех, кто по всем исследованиям чувствуют ответственность за свою судьбу, готовы рисковать, повышать квалификацию, продолжать образование, проявлять предприимчивость, инициативу. Именно такие люди в 1998 году приняли какие-то действия для выхода из кризиса. Еще 10–20% по разным оценкам, у которых какого-то одного признака среднего класса нет, но другие есть. Это — резерв. Я призываю всех видеть общество более широко и объективно.

И одна теоретическая проблема, о которой начал говорить Паин. Он ставит вопрос о том, что общественной силой, которая будет формировать новую политическую нацию, все-таки должна быть какая-то культурная целостность. Но никакой другой культурной целостности, кроме той, базой которой является городская, русскоязычная культура, мы не найдем, потому что ее ценности и ориентации уже доминируют в обществе.

Вопрос только остается в том, кем этот российский компонент будет «окучен». Он будет действовать в виде Русской партии, Движения против нелегальных иммигрантов или — как некая культурная основа гражданского общества? Мне кажется, что шанс для последнего варианта существует.

В. М. Межуев, д. ф. н., *Институт философии РАН*

Оба основных докладчика, как мне кажется, были достаточно комплиментарны по отношению друг к другу, что вполне понятно: ведь они оба — демократы. Но исходили они все-таки из противоположных позиций, зафиксировав, возможно бессознательно, реальную проблему, стоящую перед современной демократией. Я не считаю себя профессиональным политологом и потому буду говорить лишь о том, что услышал в их докладах.

Демократы, как известно, бывают разные. Они и в России разные. Когда человек говорит о себе, что он — демократ, это еще не является его полной политической характеристикой. Например, были у нас когда-то и революционные демократы (народники), и либеральные демократы, и социал-демократы. Это все разные демократы. В итоге одни демократы полностью уничтожили других. Современные демократы тоже не столь однородны, как принято думать. В России многие считают себя демократами, но им почему-то порой трудно договориться друг с другом. Что же сегодня вызывает расхождение между ними?

Демократы, как я понимаю, столкнулись в России с двумя типами исторических вызовов. О первом типе говорил первый докладчик (А. Рябов) — это вызов со стороны сохраняющихся еще у нас реликтов прошлого — традиционного общества с его абсолютизацией самодержавной или авторитарной власти. Вместе с тем демократия в наше время столкнулась с новым вызовом со стороны общества, называемым «массовым». О нем, как мне кажется, говорил второй докладчик (Э. Паин). Чтобы уловить различие между ними, надо коротко пояснить, чем массовое общество отличается от традиционного.

Оба они являются своеобразным отрицанием гражданского общества. Если традиционное общество характеризуется господством патриархальных, непосредственно личностных связей и отношений (включая и разные формы персонализированной власти), то современное массовое общество, будучи продуктом рационализации, индустриализации и урбанизации общественной жизни, ведет к обезличиванию, деперсонализации человеческих сил и отношений. Каждое из

них по-своему находится в оппозиции к демократической власти. Традиционное общество противостоит ей как охранительная, консервативная сила, стремящаяся защитить и воспроизвести в той или иной модификации традиционную систему самодержавной власти, тогда как массовое общество, строящееся на базе не автономизации, а атомизации индивидов, объединяет их друг с другом чисто внешней, формальной, безразличной к их индивидуальности связью. У меня нет времени более подробно говорить на эту тему. Главной ценностью в массовом обществе становится не индивидуальная свобода (как в обществе гражданском), а опять же власть, но уже не традиционная, персонализированная, а столь же безличная, как само общество, хотя столь же антидемократическая, как и традиционная. Она, как правило, принадлежит тем, кто владеет финансовыми капиталами и средствами массовой информации. Массовое общество организуется и управляется чисто внешней по отношению к нему силой в лице разного рода бюрократически организованных корпораций и монополий. В России, как и на Западе, массовое общество — вполне сложившаяся социальная реальность. Но на Западе массовому обществу предшествовал достаточно длительный период существования гражданского общества с его демократическими институтами, тогда как Россия в ходе своей модернизации, осуществляемой сверху, как бы сразу перескочила из традиционного общества в массовое, минуя этап гражданского общества. «Новые русские» в большинстве своем — типичные представители массового общества, но только в отличие от западных людей лишенные гражданских добродетелей. Массовое общество также несет с собой вызов демократии, хотя и в несколько иной форме, чем общество традиционное.

Об этом вызове и говорил второй докладчик, посчитав, что с традиционализмом в России давно покончено. Я с этим никак не могу согласиться. Традиционализм держится не только на силе привычки или на чисто внешней, бытовой стороне жизни. Есть еще и традиционализм мышления. Можно переселиться в город, порвать связи с предшествующей деревенской средой, но что делать с головой, которая продолжает мыслить по старым схемам? Разрыв с вековой традици-

ей на уровне сознания — дело неимоверно более сложное, чем просто перемена места и образа жизни.

Два типа вызовов порождают и разные стратегии демократического поведения. И в этом, насколько я понимаю, главная сложность проблемы, стоящей перед российскими демократами. Основной силой демократического движения в борьбе с вызовами первого порядка, т.е. вызовами традиционного общества, являются, на мой взгляд, либералы. Именно классический либерализм смог в свое время в Европе противопоставить традиционализму наиболее эффективный проект устройства социальной и политической жизни. И по настоящее время он остается, пусть и с поправками на нынешнюю ситуацию, ведущим движением в процессе демократизации и правовой модернизации традиционной государственной власти. Либералы сильны именно своей связью с правовым сознанием.

Но в массовом обществе главным противником демократов становятся как раз неолибералы с их апологией рынка и предпринимательской деятельности в качестве главной движущей силы общественного развития. Неолиберализм — своеобразный вид современного консерватизма, отличающийся неприятием идеи социального государства и социальной справедливости. В период правления Ельцина наши российские неолибералы, инициировавшие проведение экономических реформ, пошли ради создания крупного капитала на ряд существенных уступок в пользу авторитарной власти. Классический либерализм вообще бессилён в борьбе с вызовами массового общества. В таком обществе либералы как бы перемещаются на правый фланг, а авангардом борьбы за демократию становятся силы иного порядка, представленные, например, социал-демократами и некоторыми другими левыми движениями. Подобное смещение центра борьбы за демократию происходит и на Западе, дает о себе знать в постоянной полемике между правыми и левыми. Вроде бы те и другие за демократию, но если первые понимают под ней, прежде всего, свободу рыночных отношений от власти государства, то вторых волнует проблема сужения сферы индивидуальной свободы и социальное неравенство в рамках этих отношений. Здесь речь идет об освобождении индивида от тотальной вла-

сти не только государства, но и рынка, об его не только политической, но и социальной эмансипации.

Отсюда совершенно новая концепция гражданского общества. Пока мы в духе классического либерализма усматриваем в нем лишь силу, противостоящую государству, берущую его под свой контроль, на Западе оно давно трактуется как сила, контролирующая и всю сферу бизнеса. Ибо рынок, выходящий из-под контроля общества, разрушителен по своей сути. Распространяясь на природу, он порождает экологический кризис, на культуру — кризис духовный. Именно здесь заключены основные вызовы современного мира.

Вот и покрутись в такой ситуации. Одно дело противостоять в качестве демократа традиционному обществу, совсем другое — рыночному и массовому. Оба требуют от демократов большой, хотя и по-разному осуществляемой, интеллектуальной работы, ибо противоположностью традиционализму является рационализм, опора на собственный разум, а противоположностью жизни в массовом обществе — способность к взаимопониманию и сотрудничеству, к общению и диалогу.

Суть рационализма — в постановке под вопрос любой традиции, в критической рефлексии над нею. Преодоление власти традиции, помимо всего прочего, требует огромной работы мысли. Кстати, я не так понимаю традицию, как о ней сказано в последнем докладе. Главное в традиции — отсутствие различия между сущим и должным. Для традиционно мыслящего человека все, что есть, существует от века, завещано предками, то и должно быть. Любая новация исключается. В подобной ситуации противостояние отдельного индивида своей группе с ее традиционно наследуемыми обычаями, нормами и правилами поведения фактически невозможно. Демократии Нового времени предшествовала деятельность многих поколений новоевропейских интеллектуалов, включавших в себя гуманистов, религиозных реформаторов, просветителей. Идущей из прошлого традиции в сфере религиозной, политической и общественной жизни просветители противопоставили идеал разумного устройства общества и государства, основанного на правовых нормах и принципах. Культ разума вообще возникает там, где люди перестают жить, опираясь исключительно на традицию. Жить «по разуму» — тоже, конеч-

но, традиция, но базирующаяся на совершенной иной — нетрадиционной — культуре, впервые возведенной древними греками и римлянами и вновь воспроизведенной в Новое время, в эпоху Просвещения.

Это и были демократы первого призыва. В их среде зародился либерализм, социализм, консерватизм — основные идеологии Нового времени. Сегодня на Западе родился новый тип интеллектуала, предметом критики которого стало массовое общество, повлекшее за собой и кризис демократии в ее либеральном понимании. Идеалы Просвещения обнаружили в этой ситуации определенную ограниченность и недостаточность, что послужило поводом для их постмодернистской критики. На первый план выходит защита интересов и прав человека в сфере не только его приватной, частной жизни, но и жизни публичной, общественной, в сфере образовательной и креативной деятельности, обеспечивающей его выживание как духовного, культурного и социально активного существа. Это как бы новый виток демократизации общества. Здесь мало быть просто либералом в его классическом — просветительском — понимании, но требуется ориентация на качественно новые цели и задачи.

Русские демократы вынуждены решать обе эти проблемы. С одной стороны, они должны бороться с извечным российским сервизмом, с сохраняющейся традицией самовластия и подавления гражданских свобод, с другой — отвечать на антидемократические вызовы массового общества. Как совместить эти задачи?

Казалось бы, в том и другом случаях их главным противником является бюрократия. Но и бюрократия бывает разная. Победить бюрократию в современном обществе вряд ли возможно. Важно, чтобы сама бюрократия стала современной, т.е. рациональной, функционирующей по общим и понятным для всех правилам и законам, не выходящей в своей деятельности за рамки правового поля. Трагедия не в том, что мы бюрократизируемся, а в том, что наша бюрократия все еще живет в традициях не подконтрольной обществу, не правовой власти. Эту проблему не решишь одними лишь уличными протестами и демонстрациями. Она более сложная и требует,

действительно, правового реформирования всей системы государственного управления.

Но и это еще не вся проблема, решаемая современной демократией при переходе к постиндустриальному обществу. Пока наши либералы пекутся о пополнении рядов среднего класса, понимая под ним класс мелких и средних предпринимателей, на авансцену истории выходит новый класс, получивший название «креативного», объединяющий в себе работников интеллектуального и творческого труда. Им движет потребность в обретении не просто частной собственности, но более качественного образования, свободного доступа ко всем источникам информации, условий и возможностей для реализации своих способностей и талантов. Общество, в котором этот класс займет ведущее место, а интеллектуальный труд и культурный капитал станут главным источником дохода и социального престижа, очевидно, и есть общество будущего.

Такое общество рождает потребность и в новом типе политической элиты, сочетающей в своей деятельности ценности либерализма и левого движения, которое, по моему мнению, должно в современных условиях руководствоваться интересами именно этой — наиболее интеллектуально и духовно продвинутой — части общества. Наши либералы должны более внимательно присмотреться к тому, чем сегодня является левая идея, тогда как левые должны взять на вооружение все то, что есть ценного в либеральной идеологии. Только такой синтез, по моему мнению, характеризует современную политическую элиту в ее стремлении к демократическим преобразованиям, и только он может обеспечить в России их успех.

А.Ю. Даниэль, Международное общество «Мемориал»

Оба доклада, на мой взгляд, очень интересны. Оба по-разному показывают и историю кризиса либеральной идеи в России, и ресурсы либерализма. Но я хотел бы говорить о том, чего в этих докладах нет.

Мне очень близка мысль Эмиля Абрамовича Паина о том, что не бывает успешного либерального проекта без роста гражданской нации. Но я бы хотел заметить, что и не бывает роста гражданской нации без мощной исторической рефлексии.

Почему-то и в докладах, и в дискуссии эта тема отсутствует. А ведь гражданская нация не может существовать только в рамках настоящего, гражданская нация — это еще принятие совместной гражданской ответственности за национальное наследие, за прошлое.

Что происходило в этой сфере с либеральным сознанием?

Давайте сначала посмотрим на либерализм 1980-х, либерализм времен перестройки. Осмысление недавнего прошлого было, наверное, самым значительным, что происходило в те годы в общественном сознании. Собственно, в общественном сознании перестройка крутилась вокруг проблем и оценок советской истории.

Всё это прекратилось буквально в одночасье — в ночь с 21 на 22 августа 1991 года. Потеря интереса к истории была абсолютно тотальной. Мы, в «Мемориале», очень хорошо это ощутили, когда мы моментально превратились из действительно массового движения, — наверное, самого массового в доавгустовском Советском Союзе, — в сеть энтузиастов: пенсионеров, любителей-историков, любителей-правозащитников. Все 90-е годы у нас ушли на то, что мы эту сеть как-то развивали и подымали, как-то возрождали движение. Нам это более или менее удалось, мне кажется, — но при почти полном равнодушии либерального сообщества.

Именно в либеральном сознании прежде всего и ярче всего проявилась эта тотальная потеря интереса к советскому прошлому. Либералы-политики, либералы-экономисты просто отказывались думать о советском периоде. Как будто 22 августа 1991 года наступило сразу после 25 октября 1917-го, а в промежутке — черная дыра, в которую неинтересно и страшно вглядываться, о которой лучше всего поскорее забыть. Назначить культовой фигурой Столыпина, нарисовать на знамени Медного всадника... Ну вот, Медного всадника и получили в конечном итоге. А чего мы еще могли ждать?

На этом пустыре памяти выросли, естественно, мифы, мифы довольно опасные. И, опираясь на эти мифы, стимулируя и развивая их, антилиберальные, антидемократические силы — они-то о необходимости осмысления прошлого не забывали! — стали осуществлять с конца 1990-х свой «национальный проект».

И в этом я, кстати, вижу, как ни странно, и некоторую надежду, и некоторый ресурс тоже. Когда в 1990-е ни власть, ни общество, ни либеральное сознание абсолютно не интересовались отечественной историей, это была одна ситуация. А когда на этом поле вновь начали играть политики, то возникла совсем другая ситуация: тема вновь вернулась в общественный дискурс. Она все более мощно возвращалась в течение всех последних восьми лет: да, в виде мифов, да, в виде легенды о великой эпохе (она ведь и в самом деле была великой — великой и трагической, «великой под знаком понесенных утрат», как сказал Борис Пастернак), — но и в виде общественного противодействия мифотворчеству.

И теперь вновь, как в 1980-е, линия фронта проходит по этой территории. Это осознают политики, это прекрасно понимают высшие государственные чиновники, это начинает доходить в последние годы и до либерального сознания. Это начинает осознавать, между прочим, и бизнес. И ряд проектов по работе с прошлым, который сейчас возникает, инициируется уже не только «Мемориалом», но и другими общественными силами.

Последний проект «Новой газеты», который курирует Михаил Сергеевич Горбачев, ряд других проектов — все это показывает, что общественный интерес к истории, осознание необходимости этой исторической рефлексии, растет быстро и повсеместно. И это, по-моему, все-таки дает надежду на то, что либеральной мысли удастся, наконец, справиться с осмыслением и сегодняшнего дня, отстоять и вернуть в общественное сознание ценности свободы и права, построить убедительный либеральный проект будущего страны.

М.П. Белоусова, Институт социологии РАН (Санкт-Петербург)

Оба докладчика неоднократно упоминали о нерациональности, о мифологичности общественного сознания, поступков, поведения людей. Над рабочим столом моей дочери-подростка висит популярный в Интернете афоризм: «Прислушайся к голосу своего разума. Послушай! Какую чушь он несет!» Я думаю, что этот афоризм не зря так популярен в Интернет-среде и не зря так нравится подросткам. Они к нему относятся настолько внимательно, что делают его своим лозунгом. Я думаю, что это фраза, которая, действительно, в некоторой степени отражает состояние сегодняшнего массового сознания.

Я по профессии социолог и мне, наверное, проще апеллировать к результатам собственных социологических исследований, которые объясняют: откуда такая нерациональность, неразумность, с нашей точки зрения, откуда такая мифологичность мысли человека в его поступках?

Исследования, которые я провожу сейчас, посвящены теме: право на доступ к информации органов государственной власти. И мы спрашиваем у профессиональных пользователей, у тех, кто регулярно обращается к государственной информации: с какими проблемами они сталкиваются? Эти люди — это те самые интеллигенты, те самые интеллектуалы, о которых мы говорим. И в тех интервью, которые мы уже обработали, они говорят о том, как они добывают эту информацию и что для них является препятствием. Я сейчас просто набросаю короткие пассажи, не претендуя на то, чтобы всё пересказать.

Историки говорят о том, что велико засилье чиновничьего контроля. Они в каждом архиве должны доказывать то, что им действительно нужно это «дело» и почему им нужно именно это «дело».

Социологи, которым нужна статистика, говорят о том, что современные российские методики получения статистической информации совершенно не пригодны — у них нет возможности сравнивать полученные данные с данными других

стран. Они не уверены в правильности, в достоверности этой статистической информации.

Экономисты говорят о том, что у них нет никакой надежды на то, что они получат ту информацию, которая их заинтересует. И о том, что даже, если экономистов нанимает государство для выполнения какого-то государственного заказа, они могут не получить ту информацию, которая им нужна. Они не могут создать то знание, которое будет полезным, востребованным и каким-то образом развенчивать те мифы, которые существуют в интеллектуальной среде.

Журналисты сейчас полностью становятся жертвами механизмов пресс-служб, когда всё, что им удастся получить от органов власти — это только то, что пресс-службы им предоставляют. Как говорят в наших интервью: «Журналисту остается только эмоционально пересказать то, что пресс-служба ему предоставила». Его личная попытка постучаться в дверь чиновника и получить какие-то комментарии часто обречена на неудачу.

Но что выгодно отличает интеллектуалов? Что выгодно отличает тех, кто регулярно обращается за государственной информацией и может потом ею распоряжаться? Они используют личные связи. Они используют свои собственные ресурсы, используют свой собственный человеческий капитал. Им удается получить эту информацию. Они профессионалы не только в своих потребностях, но они профессионалы и в том, как они эту информацию добывают.

Основной вывод, который следует из исследования, — получение этой нужной, необходимой для принятия разумных решений информации, похоже на добычу. Эта добыча, практически, отдельная рабочая задача, которая стоит перед интеллектуалами. И, конечно, на это уходят силы, уходят временные, личные, моральные потери и ресурсы. Но все-таки выход они находят. Находят выход благодаря своему личному капиталу.

Что же происходит с людьми, которые сталкиваются с той же самой проблемой, — пытаются получить достоверную информацию и распоряжаться этой информацией для того, чтобы быть такими, как нам хотелось бы, — рациональными и ра-

зумными и жить без мифов? Ведь у них нет таких личных связей, как у профессионалов!

У меня перед глазами графики, которые я получила, буквально, позавчера. На них еще, можно сказать, краска принтера не высохла. Это результаты общероссийского опроса по этой же теме. Мы обращались к людям с вопросами: какая информация им нужна от государственных органов, какую информацию они считают нужной для их жизни и что они считают недостоверным. Вот эти замечательные результаты, которые нам очень многое объясняют.

Более всего сомневаются в информации, полученной от органов власти, люди от 25 до 39 лет. Что это за возраст? Это ведь возраст социальной активности и это возраст ответственности за несовершеннолетних детей, как правило. И вот список категорий информации, которой они не доверяют. Самое потрясающее, что более всего они не доверяют информации об адресах и телефонах органов власти и учреждений. То есть, это первая категория — самая элементарная, которую мы предлагали. Дальше идет правовая информация, экологическая, о международной политике и т.д. О какой рациональности мы можем говорить, если 40 процентов из этой группы не уверены в надежности адреса органа власти, и, что они через Интернет-сайты или через какие-то другие источники могут об этом получить достоверную информацию?

Здесь другие возраста четко отражают потребности людей. То есть, в зависимости от тех задач, которые приходится человеку решать в определенном возрасте, находится неуверенность в достоверности такой информации. То есть, если мы говорим про людей молодых, от 18 до 24 лет, то они более всего не доверяют государственной информации об образовании, о состоянии преступности и криминальной обстановке вокруг, о вакансиях на должности государственных служащих, еще — об изменении в экологической среде своего города. А для пенсионеров характерна высокая степень недоверия к информации о пенсионном обеспечении и здравоохранении.

На мой взгляд, это достаточно четко объясняет, откуда идет такая неуверенность в том, что можно принять рациональное разумное решение, откуда такая высокая мифологизация сознания. И получается, что мы — люди интеллектуаль-

ного труда и люди обычные — находимся совершенно в разном положении. Если мы, люди интеллектуального труда, желаем получить информацию — мы можем это сделать. А если люди хотят получить ту же информацию, они сталкиваются с серьезными проблемами. У них нет таких личных ресурсов, как у интеллигентов.

М.Ю. Виноградов, экспертное агентство «Тренд»

Можно говорить о профессионалах, о городском среднем классе, как говорит об этом в своем докладе Андрей Рябов, — но есть ощущение пропасти между интеллигенцией и этим городским средним классом. Проблема, наверное, здесь не только в языке — языковые проблемы отражают некоторый вектор мышления, неготовность пытаться найти общий язык с этими людьми.

Что можно было бы предложить в части языка при общении с населением, при общении со средним классом? Стоит обратиться к уже упоминавшемуся примеру «Новой газеты». Чего, на мой взгляд, не хватает «Новой газете» и почему ее аудитория остается ограниченной? — Газете не удастся сделать политическую тематику интересной. Мы видим, что, с одной стороны, интерес населения к политике, безусловно, катастрофически упал в последние годы. С другой стороны, появилось много разных интересных стереотипов, которыми можно пользоваться, рассказывая о политике. У людей есть понимание, что любое политическое действие кому-то выгодно, кто-то за ним стоит. Можно сделать на этом акцент в виде небольших текстов — не в жанре публицистики, а может быть, с большим числом наглядных слайдов, что-то заимствуя даже у «желтой» прессы с точки зрения подачи материалов. Это сделало бы подачу более яркой, более понятной и побудило бы людей пересказывать то, о чем они прочли в «Новой газете». То есть не просто еще раз подтверждать свою картину мира, видя, как всё плохо и несправедливо, а побуждать к пересказу прочитанного.

В этой связи, наверное, предстоит адаптироваться к той картине мира, которая сегодня появилась, как говорит Андрей

Рябов, у городского среднего класса. Да, это пространство, во многом сформированное телесериалами, пространство, сформированное какими-то обывательскими, малопонятными вещами. Но без понимания, как устроены их мозги, без погружения в просмотр телесериалов, которые они смотрят, невозможно понять, как они думают, и, соответственно, невозможно воздействовать на эту картину мира.

Одна из тем, которой можно увлечь, — местная повестка дня. То, что происходит в городе, регионе — это, может быть, единственное, что может быть интересно обществу за рамками потребительского идеала — идеала, который сегодня доминирует в обществе и которому нечего противопоставить. Так, в свое время на телеканале «Россия» появилась программа «Вести-Москва» — и оказалось, что в городе Москве есть какие-то новости, какая-то жизнь на фоне той картинки, которую рисовал ТВЦ.

Без адаптации, без увлечения местной повесткой дня «Новая газета» останется бессильной в борьбе за умы этих не желающих ее читать людей.

Что же касается диалога с властью и попытки искать общий язык с властью, то, на мой взгляд, периодически возникают окна возможностей, связанные с теми или иными темами. Тогда появляется возможность участвовать в интеллектуальной дискуссии — если и без уверенности, что, в случае выигрыша, ты окажешься при деньгах и на коне, но, по крайней мере, получив возможность реализовать те или иные идеалы.

Возьмите сегодняшнюю ситуацию с муниципальной реформой. Какой бы она ни была по замыслу, пусть и достаточно спорной, очевидно, что без создания нормальных органов местного самоуправления не приходится говорить о серьезных сдвигах в настрое людей на гражданскую активность. Наверное, муниципальная сфера — единственная, где хоть как-то можно пробудить гражданскую активность людей и вызвать у них интерес. Я понимаю нежелание идти в муниципальную тематику — это кажется низко, скучно, не так возвышенно. Но по большому счету, во многом именно неспособность транслировать либеральные, демократические установки на низовой уровень породила неудачи проектов 80-х-90-х годов. Есть ли сегодня окно возможностей при разговоре с властью о муни-

ципальной реформе? Пожалуй, есть. Я думаю, что у власти нет каких-то четких фильтров, препятствующих тому, чтобы развивать местное самоуправление. Сопротивление возникает на уровне губернаторов, но оно преодолимое. Поэтому, по крайней мере, здесь можно вести диалог с властью.

Что касается замечания Александра Даниэля о необходимости развития в обществе исторической рефлексии, оно кажется мне, скорее, спорным. Думаю, что те фильтры, которые сегодня появились в общественном мнении на критическом восприятии истории, в том числе советской эпохи, наверное, не преодолимы. С элитой все легче. Она абсолютно деидеологизирована, ей, в принципе, все равно. Для нее историческая тематика — чаще только предмет для манипуляции. А те фильтры, которые препятствуют попыткам критического осмысления истории российским населением, сегодня вряд ли преодолимы. Поэтому мне кажется, что эту тему стоит пока отложить.

Я окончил исторический факультет МГУ и хорошо понимаю значимость этой темы, но считаю ее не очень своевременной.

М.С. Горбачев: Дело не в МГУ. Сколько вам лет?

М.Ю.Виноградов: 34.

М.С.Горбачев: А мне 77, у меня нет столько времени. Возьмите учебное пособие Филиппова. Я просто был им потрясен. Такую муру рекомендуют чуть ли не в качестве эталона.

М.Ю.Виноградов: Одно дело, когда граждане с радостью повязывают георгиевские ленточки — это легко. Но когда появляется необходимость погрузиться в более сложную тематику, то они стараются ее игнорировать, на мой взгляд. Думаю, что здесь есть риск потратить большие силы, но не добиться успеха, потому что фильтры, которые стоят на истории Второй мировой войны, непреодолимы в обществе в ближайшие пять лет.

На мой взгляд, есть некоторый кризис формата дискуссии экспертных «круглых столов». Если мы соберем «круглый стол» предметно — о том, что делать с историческими фильтрами; или по поводу того, как адаптироваться к муниципальной повестке дня и каким образом пробуждать гражданскую

активность на муниципальном уровне, — мне кажется, это будет более продуктивно, чем разговоры про более общие материи. Хотя, наверное, не все согласятся с этим.

А.В. Федоров, проректор Таганрогского государственного педагогического института, президент Ассоциации медиапедагогики России

В течение ряда лет мы пытаемся проводить исследования восприятия СМИ различными слоями населения, в том числе школьниками, студентами, учителями. Поэтому интересно поспорить с Натальей Ивановой, которая говорила о том, что в 1989-1990 годах было 10 миллионов человек, которые заоем читали журналы «Новый мир», «Знамя» и т.д., а потом (в 90-е годы) все эти 10 миллионов как бы растворились и исчезли.

Я с этим не согласен, поскольку думаю, что общество сохраняет некую стабильность, и те 10 миллионов активных читателей никуда не исчезли. Просто они находятся в другой медийной ситуации.

Давайте вспомним. В 1990-м году в любом книжном магазине России, начиная от Москвы и до Камчатки, книг в продаже не было — практически никаких. В библиотеках ситуация была несколько лучше, но «Доктора Живаго» Пастернака и «Архипелага Гулага» Солженицына там тоже тогда еще не было...

Существовал огромный книжный дефицит, очереди, процветал «черный» книжный рынок... Сегодня в любом большом книжном магазине любого города можно найти разнообразную интеллектуальную литературу. О книжных магазинах Москвы я уже и не говорю. Можно свободно купить собрание сочинений Булгакова, Солженицына, философские сочинения Бердяева, ведущих зарубежных интеллектуалов. Прежнего дефицита давно нет...

Полагаю, что читатели, вместо того чтобы оформлять подписку на толстые журналы, просто идут в магазин, подходят к полкам с интеллектуальной литературой и покупают те книги, которые их интересуют...

Не важно, каковы эти тиражи. Дело в том, что если бы это была одна интеллектуальная книга тиражом 4 тысячи экземпляров, это было бы мало. Но когда таких книг 100 тысяч, и каждая издана тиражом от 1 до 4 тысяч экземпляров, то есть выбор. Можно купить 10–20 разных книг, напечатанных тиражом 4 тысячи экземпляров, и спокойно читать. Или пойти в библиотеку, где по сравнению с 1990 годом выбор книг тоже значительно расширился.

Но это только первая причина оттока читающей аудитории от подписки на толстые журналы. А вторая причина заключается в том, что, живя в другой медийной ситуации, нынешние молодые люди или, во всяком случае, те, кому сегодня до 40 лет, даже и в книжный магазин не очень-то пойдут. Они откроют интернет-библиотеку Мошкова, скачают оттуда собрание сочинений Набокова, Солженицына — кого угодно. Я говорю только о тех 10 миллионах читателей, которые стабильно, из года в год остаются стабильными приверженцами интеллектуального чтения.

Я знаком с социологическими выкладками. И, в общем-то, знаю, что именно 10 миллионов читателей, одни — в книжном магазине, другие — в Интернете находят для себя и литературу арт-хауса, и труды и философов, психологов, политологов, социологов. Допустим, кто-то пойдет и купит «Галактику Гутенберга» Маршалла Мак-Люэна в магазине «Москва», а кто-то эту же самую «Галактику» скачает из Интернета. Так что я убежден, что общий объем читающей аудитории в России с 1990 года ничуть не уменьшился, а просто люди помимо бумажных носителей информации активно пользуются иными — дисками, Интернетом и т.д. А вот число подписчиков бумажной прессы закономерно уменьшилось. Это факт...

В заключение мне хотелось сказать несколько слов о той ситуации, которая складывается с современными медиа в плане их воздействия на подрастающее поколение. Известно, что Россия во многих областях отстает от западных стран, но в области пропаганды насилия в аудиовизуальных медиа наша страна, увы, к сожалению, чуть ли не впереди планеты всей...

В 2003 году, работая по программе Института Кеннана в библиотеке Конгресса над темой *Violence on the Russian & American Media Screen and Youth Audience* (Насилие на рос-

сийском и американском экране и молодежная аудитория»), я обнаружил, что после крушения Советского Союза (с его жесткой медийной цензурой) ситуация с показом насилия российскими СМИ стала складываться аналогично западной. Потом она превзошла западную ситуацию по натуралистичности и частоте изображения насилия. Я проводил специальное исследование и в своей монографии детально описал, что именно в «детское» время, скажем, до 9 часов вечера, на несовершеннолетнюю аудиторию обрушивается огромный медийный поток (в первую очередь через телевидение), сюжетов, изображающих акты насилия.

Моя книга вышла в 2004 году. Прошло четыре года, и я вижу, что ситуация, к сожалению, если и меняется, то, может быть, даже в худшую сторону. Это ведь касается не только игровых фильмов и сериалов, где насилия чрезвычайно много, но и документальных передач. К примеру, недавно по ТВ практически пропагандировалось дело о «битцевском маньяке». В какой стране мира был бы возможен многочасовой показ «откровений» матерого убийцы? А по российским телеканалам серийный убийца детально рассказывал о деталях, подробностях своих злодеяний. Этот «аудиовизуальный ряд» переходил с канала на канал. У меня лично сложилось впечатление, что в разгар судебных разбирательств битцевский маньяк имел доступ к эфиру чуть ли не больший, чем президент России...

Ответственность современных российских медиа настолько низка, что этот «уровень безответственности» дает возможность практически беспрепятственно пропагандировать насилие и самым негативным образом воздействовать на подрастающее поколение. Конечно, вначале это подается под знаком того, что показывается некая объективность, фактор жизни. Но идет концентрация такого рода «факторов» по всем основным каналам.

Я не выступаю за цензурные запреты, за то, что нужно создавать некие комитеты, которые должны что-то запрещать. Взрослая аудитория, на мой взгляд, имеет право получать доступ к любой информации. Но для несовершеннолетней аудитории нужны возрастные рейтинги, нужны также и усилия медиаобразования, включающие развитие критического мышления по отношению к любым медиатекстам.

Если в США пытаются обсуждать эти вещи в Сенате, Конгрессе, принимать действенные государственные законы, то в России — если законы принимаются, то контроля за их исполнением нет. Любой десятилетний паренек, зайдя в любой магазин, где продается видео и DVD, купит там и порно и насилие.

В этом я вижу серьезнейшую опасность для подрастающего поколения.

В.Д. Соловей, д.и.н., МГИМО (У) МИД РФ

Вернусь к теме, которая посвящена значению и исторической роли интеллигенции в трансформациях последних 20 лет. Конечно, это значение и эта роль, без преувеличения, колоссальны. Ведь интеллигенция была главной социальной силой перестройки, или, выражаясь афористично, Михаил Сергеевич Горбачев начал «революцию сверху», а интеллигенция начала «революцию снизу». Сомкнувшись, эти два потока вызвали грандиозную историческую динамику, последствия которой мы можем сейчас наблюдать.

Но, как учит история всех революций, их последствия для революционеров чаще всего довольно плачевны. Интеллигенция — не исключение. Перефразируя Карла Маркса, советская интеллигенция сама выковала то оружие, которое ее уничтожило, стало ее могильщиком. В новой социоэкономической и политической системе, как бы ее ни определять, места для интеллигенции в том виде, в котором она существовала в советское время, нет. Более того, интеллигенция как феномен принципиально не восстановима, и надо отдавать себе в этом ясный отчет.

Историческая миссия советской интеллигенции закончилась в 1991-м году. Что же возникло на ее месте? Весьма приблизительно новую социальную ситуацию мы можем охарактеризовать как двухполосную. Один полюс — масса нищих бюджетников, которые и есть основная часть бывшей советской интеллигенции. И второй полюс — культур-капиталисты. Это очень небольшая группа людей, которая контролирует культурный и символический капитал, и получает

от него, опять же говоря марксовым языком, изрядную прибавочную стоимость. Между двумя этими полюсами находятся небольшие группы профессиональных интеллектуалов. Группы, которые смогли адаптироваться к новой ситуации, отчасти даже добиться успеха. Но их политическое и социальное влияние, в отличие от западного интеллектуального класса, мизерно.

Во многом потому, что эти группы не осознают себя, свой интерес, между ними нет устойчивой коммуникации. Профессиональные интеллектуалы в России не могут выставить никаких корпоративных требований, ибо группы, которым они принадлежат, друг с другом не общаются и часто даже не хотят этого. В то же время по своей социальной позиции и базовым интересам профессиональные интеллектуалы примыкают к тем самым средним городским слоям, о которых сегодня много говорилось.

Я согласен с оценкой этих городских слоев как не понятого нами социального объекта. Тем не менее одно мы можем о них сказать с высокой степенью вероятности: в этих слоях нарастает и ширится запрос на перемены. Однако я бы не стал переходить здесь в революционную тональность, порою превалявавшую во время нашего обсуждения, поскольку мы не знаем, какого рода перемены произойдут.

Да, существующие аналитические модели позволяют с очень высокой вероятностью предсказать общенациональный кризис. Точность прогноза составляет 85%, что выше точности краткосрочного прогноза погоды. Так вот, исходя из этих моделей, в России очень велика вероятность общенационального кризиса. Более того, она возрастает. Но основываясь на тех же самых моделях, можно сказать: мы можем предсказать «вход» в кризис, но мы не можем предсказать ни его развитие, ни его результаты.

Мы априори исходим из того, что горизонт этого кризиса — демократический. А почему он, собственно говоря, должен быть таким? Я не буду напоминать, что демократия — вообще-то, хрупкий цветок западной цивилизации, возникший вследствие уникальной конstellляции факторов. И этому цветку вовсе не гарантирован подходящий климат в современном мире, который быстро трансформируется и радикально отли-

чается от мира не только 70–80-х годов, но даже от мира 90-х годов.

Всего лишь один пример: продовольственный кризис. Он может здорово изменить представление о желательном типе политической системы, поскольку рacionamento продовольствия способен успешно осуществлять только авторитарный, но никак не демократический режим. А ведь дефицит продовольствия — реальная перспектива для многих современных государств, не исключая Россию.

Поэтому давайте отделим готовность к переменам (она нарастает) от характера грядущих перемен, который не столь уж предвидим. В любом случае ясно одно: интеллигенция — этот необратимо дезинтегрировавшийся субъект — более не сможет повлиять на процесс этих перемен и не сможет сыграть в нем сколько-нибудь значительной роли.

Заключительные замечания

А.В. Рябов

У меня очень короткое заключение, поскольку практически со всем, что говорили, я согласен.

Единственное, что мне хотелось бы подчеркнуть, — то, что сказал Валерий Дмитриевич Соловей: действительно, при всем универсализме демократического движения, если говорить о конкретной российской перспективе этого движения, то она совершенно не задана. И некоторая «плавность» развития, о которой я сказал, как раз связана с тем, что скачкообразность развития может привести к совершенно другой альтернативе, вовсе не демократической. Это я хотел подчеркнуть.

Э.А. Паин

Если проповеди малоэффективны, то уж доклады — тем более. Каждый слышит то, что хочет, или то, что может. Но есть несколько позиций, которые я хотел бы все-таки артикулировать.

Больше всего меня заинтересовала идея Вадима Межуева. Я хотел бы развить ее буквально в нескольких словах.

Возможно, те два подхода, о которых он говорил, могут быть противоположными, альтернативными: либо модернизация, и тогда якобы стоит задача борьбы с косной традиционной средой, либо защита окружающей среды, скажем, в целях экологической безопасности. Но эти задачи могут быть и дополнительными. И я вижу в этом выход для России. Идея моя была вовсе не в том, чтобы сказать, что мы обречены. Напротив, я говорил о том, что культурных традиций, которые бы мешали модернизации, в России не существует. Это мой главный вывод. В этом смысле нет нужды бороться с ними. Есть совсем другая проблема — отсутствие институтов гражданского общества, которые плохо приживаются как раз потому, что не опираются на традиционные институты.

Борис Макаренко говорил о немцах, которые «не забивают шурупы, а вкручивают их». Может быть, он прав в отношении какого-то количества немцев. Только в последние годы в Германию переехали десятки тысяч немцев из России, у которых давно атрофировалась такая традиция. Некоторые из них и немцами-то стали, только женившись на немках или купив в Казахстане паспорт у продажного милиционера. Но, попав в Германию, они осваивают культуру вкручивания шурупов и новую трудовую этику. Почему? Потому что сохраняются традиционные институты социального контроля, через которые можно освоить эти элементы культуры. Нам нужно не бояться традиционных институтов. Мировой опыт показывает: не мы одни были в ситуации разрушенной традиционной среды. Не мы одни десятилетиями жили в условиях тоталитаризма, и не мы одни из него выходим. И тот опыт, который уже имеется — опыт Испании, Италии, Чили после Пиночета, — показывает, что новые демократические институты, то самое гражданское общество прорастает через использование неких традицион-

ных институтов. В Испании это были соседские хунты, в Чили и Польше — религиозные приходы, а в Италии — возрожденные цеховые организации плюс региональные ассоциации. На них опирались новые институты, через них укоренялись в народе новые политические течения, а потом и партии.

На мой взгляд, сейчас надо попытаться отыскать и в России те клеточки и традиционные институты, через которые может прорасти гражданское общество. Без такого общества дальнейшая модернизация невозможна. Разговор о том, что нам нужна эффективная государственность, правильный. Только такая государственность невозможна без социального, общественного контроля. Она сразу портится, сразу заворовывается, а в перспективе грозит перерасти и в диктатуру.

Я не утверждаю, что моя гипотеза о роли традиций верна. Это как раз предмет исследования и анализа. Но посмотреть на то, каким образом могут укорениться гражданские институты в России, безусловно, важно.

